

Слушайте, люди! К вашим сердцам  
обращаются колокола Хатыни.  
С гневом и болью рассказывают  
они о трагедии этой деревни.

---

# ХАТЫНЬ.

А. БЕЛЕВИЧ

БОЛЬ  
и ГНЕВ



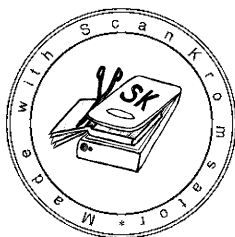
**А. БЕЛЕВИЧ**

---

**ХАТЫНЬ.  
БОЛЬ  
И ГНЕВ**

Издание  
второе,  
переработанное  
Перевод  
с белорусского  
ВЛ. ЖИЖЕНКО

**ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА  
1975**



**Белевич А. П.**

**Б43** Хатынь: боль и гнев. Изд. 2-е, переработ. Пер. с белорус. Вл. Жиженко. М., Политиздат, 1975.

80 с. с ил.

Автор этой книги белорусский поэт Антон Белевич известен читателю своими поэмами и стихотворениями, изданными в разные годы: «Добрый день», «Человек из дубравы», «Соловьиная роща», «Живое диво» и др.

Б  $\frac{10604-322}{079[02]-75}$  Заказ «Союзкниги»

9(C)272

Слушайте, люди!  
К вашим сердцам  
обращаются колокола  
Хатыни.  
С гневом и болью  
рассказывают они  
о трагедии этой деревни.  
22 марта 1943 года  
отряд фашистских  
захватчиков  
окружил деревню.  
Все жители — старики,  
женщины, дети —  
были согнаны в сарай  
и заживо сожжены.  
Фашистские варвары  
превратили в руины  
209 белорусских городов  
и городских поселков,  
9200 сел и деревень.  
В сотнях из них были  
уничтожены мирные жители.  
От рук оккупантов  
в Белоруссии пало  
2 миллиона 230 тысяч  
советских граждан.  
Это никогда  
не будет забыто!



## ЗАРЕЙ И СОЛНЦЕМ ПИСАНО

И о временах, на полынной горечи замешенных, и о других — светлых, радостных временах слагал народ песни. Особенно берут за сердце песни, сказки, былины и легенды, герой которых — хлеб. Хлеб предстает в образе богатыря, дающего силу человеку.

Шагает путник, мерит версты,  
Глаза слепит соленый пот...  
Свой горький хлеб, как камень, черствый  
В холщовой торбе он несет.  
Несет! Уж пройдено немало  
От нив родных, от милых хат.  
Тяжеловата торба стала.  
Подумал: «Хлеб тут виноват!»  
— Ну и натер ты, брат, мне плечи  
Тяну тебя, что тот ишак.—  
Сказал. А хлеб ему перечит,  
Хлеб говорит из торбы так:  
— Пустое мелешь, человек,  
Я сам несу тебя, чудаки!  
— Слыхали вы?! — развел руками,—  
Он спятил, едучи на мнел  
Прощай, лежи тут под кустами,  
А я хоть роздых дам спине...  
Он хлеб кладет под куст ракиты  
И в путь... Но скоро изнемог:  
Потяжелели шапка, свита,  
По пуду каждый из сапог.  
Беда! Совсем не держат ноги,  
Так подвело — хоть ляг пластом...  
Назад вернулся он с дороги,  
Туда, где торба под кустом.  
— Прости, дружище,— молвил хлебу,—  
Зазря тебя обидел я...

И в дальний путь под синим небом  
Пошли как добрые друзья.

Эта былина напомнила мне детство. Случись, бывало, обронить кусочек хлеба, мать говорила мне:

— Поцелуй, сынок, этот кусочек.

— А зачем?

— Чтоб он не озлился, не прогневался, не обидел-

ся,— отвечала мать,— чтоб не убежал от тебя. Дружи с ним, уважай его.

И, бывало, достанет она из печи буханку — на льняную белую скатерть ее положит, ножом крестик прочертит по теплой свежей корочке, чтоб угодить хлебу, чтоб не покинул он в гневе наш дом. А он ближе к весне частенько подавался в бега. Было ведь такое? Было! А в Хатыни, случалось, еще среди зимы убегал из сусеков хлеб. Там лебеду, картошку, мякину добавляли в тесто. Не пропекался тот хлеб, серый, колючий, в горле комом стоял. Было ведь такое? Было! До создания колхозов было. А в 1930 году родился в Хатыни колхоз. Назвали его «Чырвоная зорка» — значит, «Красная звезда». В него вошли Хатынь и соседние деревни Мокредь и Селище. По новому руслу потекла жизнь.

Великой ленинской правдой был перечеркнут, ходом событий был погребен извечный уклад мужицкой жизни. Новая доля, наш колхозный строй привели хлебоборов к той ясной живой яви, когда все хорошее, светлое становится общей человеческой радостью, а все худое — общей людскою бедой. Зарей и солнцем в программе нашей жизни писано: дружба и единство, все за одного — один за всех, человек человеку — друг, товарищ и брат. Это кодекс нашей жизни, это наша действительность, что набухшим зерном на щедрой почве прорастала, всходила, колосилась и цвела. Ее собственными глазами увидали люди и в Хатыни.

Рос, богател колхоз. Уже роились пчелы на колхозных пасеках, хлопали крыльями шумные стаи уток, гусей на колхозных прудах и озерах, шли стада коров, табуны лошадей по росным травам в березняки и лозняки, рокотали моторы на полях.

Хатынские хлебоборобы плугами писали в поле песни новой доли, молотами ковали в кузне достаток и новый быт. Песни труда сливались с песнями соловьиными. Песни жаворонков с ясного неба падали в молодую траву, на первые цветы, на цветущие сады, на рослые зеленя. А они тянутся вверх, из трубочек сочных пробиваются на свет молодые колосья, в росах и зорях, в солнце и радуге купаются. Колосится жито, наливается. Свежий

дождь прошумел, веселый гром прокатился над нивой. Летним теплом, солнцем полнятся зерна, нежными глазенками глядят на хлеборобов.

Радуется Хатынь. В предвечерний час несут жнеи с поля первый золотистый сноп, а он — теплый, тяжелый — пахнет полем и солнцем, в нем аромат нового хлеба... Идет первый сноп в деревню, в колхозную контору.

А за ним летят из края в край  
 Песни доли радостной, счастливой...  
 — Чаркой, председатель, одеяй,  
 Сноп тебе на славу принесли мы.  
 Солнцем каждый колос обогрет,  
 Каждое зерно взлелеял ветер.  
 Будем завтра в поле мы чуть свет,  
 В поле и закат мы поздний встретим!..

— Принимай сноп, председатель! Выкуп давай, председатель!

— С новым урожаем, с новым хлебом вас, дорогие жнеи! — говорит председатель колхоза Николай Иванович Папкович и бережно ставит сноп на стол в своем кабинете.

Совсем свечерело, а песни не умолкают — радостные песни. Катятся они по лугам, по дубраве, по сердцам людским, сливаются с гулом и рокотом машинным...

Уже тогда хатынским хлеборобам на подмогу пришли богатырской силы машины, умная наука химия. Полновесными, щедрыми были колосья на колхозном поле. А наипервейшей гордостью хатынцев был лен. Зацветет он, бывало, — голубыми озерами колышется, с небосводом сливается. А когда созреет — волокнистый, шелковистый, — медные коробочки-бубенцы долу клонятся, звенят. Ах, до чего же хорош был лен в колхозе «Чырвоная зорка»! Из Плещениц, из близких, далеких колхозов приезжали в Хатынь поучиться у тамошних льноводов, опыт перенять.

Да разве одними льноводами славилась Хатынь! Здесь уже до войны были знаменитые доярки, свинарки, пчеловоды, кузнецы и трактористы. А самым прославленным среди прославленных был кузнец Антон Яскевич. Его считали настоящим волшебником. Он и тракторы и ком-



байны «лечил» в своей кузнице. Возьмет в руки прут железный — катится подкова, серебряным полумесяцем блеснет серп назубренный...

Вот такие умельцы, люди высокой сознательности ковали счастье, новый быт в Хатыни. Тогда уже не новинками были в колхозной хате радио, газета, книга, электрический свет. И уже никого не удивляло, что простой крестьянин сегодня сено стогует, а завтра трактор в поле ведет, за рулем автомашины сидит или с электростанции свет посылает в колхозный клуб, в школу, в дома. Город со своим бытом, со своей культурой, наукой и музыкой, как говорится, пришел в Хатынь.

И в то горькое лето дружно роились пчелы, наливались колосья в поле, густые травы шумели в лугах. Радостью наполнились сердца хлеборобов. И вдруг огнем и дымом дохнул, железом и свинцом хлестнул, тротилом и порохом взорвался июнь сорок первого года.

Война!..

---

## ЖЕЛЕЗОМ БИЛА, ОГНЕМ ПАЛИЛА

---

Ночь звенела соловьями, скрипела дергачами, ухала совами в логойском лесу. Здесь, в стороне от больших дорог, в лесной глухомани, не слышно еще канонады, не пахло порохом и дымом. Густой запах багульника, прелых листьев и теплой коры струился по лесу. В волнах его стоял рогач-лось. Он уже вдохнул и дыма, и пороха там, откуда его выгнала война. Она уже несколько дней шла за ним следом, шла неотступно. Не раз из кустов, из березняка видел он грохочущие черные страшилища с белыми крестами, изрыгавшие огонь и дым. Чужой, отвратительный запах исходил от тех страшилищ. И лось, высоко подняв широкую крону рогов, раздувая ноздри, бежал, бежал все дальше и дальше от своего родного леса.

И вот здесь, в чужом лесу, он стоял и принюхивался: славно пахнут горьковатая кора осины, росная трава.

Здесь можно отдохнуть, спокойно пожить можно в этом далеком, незнакомом лесу. Напившись из кринички воды, он тяжело вздохнул, лег на траву под осиной и задремал...

Еще не испили с листьев утренней росы соловьи, лесные жаворонки и сойки, как лось снова вышел к кринице. На опушке леса он увидел человека. Увидел и человек лося. Они стояли и рассматривали друг друга.

— Доброе утро, сохатый! — крикнул лосю человек. — Откуда пожаловал, дружище? Что-то я тебя здесь никогда не видел. Не здешний ты. Беженец. Война, поди, выгнала из родного дома? Беда, дружище. Большая беда...

Человек встретил в лесу и других зверей, которых никогда прежде здесь не было и которых война выгнала из родных лесов.

«Все живое убегает от зверей-фашистов! — подумал про себя косарь из Хатыни. — Может, и нам, хатынцам, доведется скоро подаваться в другие места. А может, не придет сюда война? Может, обломает свои железные зубы на старой границе в Негорелом, в Столбцах? Может, разобьет свой железный лоб о каменные громады Минска? Может, не постигнет нас участь беженцев?..»

Нет, не довелось стать беженцем тому косарю. Вернувшись на опушку, он ополоснул в ручье косу, провел раз-другой по лезвию бруском-менташкой и принялся косить:

Коси, коса, пока роса,  
Роса долой — и мы домой...

А тут подошли и другие косари из Хатыни. Валили сочную росную траву, вели широкие прокосы. Их согрели первые лучи солнца, по ним ползали сонные шмели, гудели протяжно, тяжело взлетали, опускались снова на душистую траву. Шмелиным медом пахли луговые цветы. Когда хорошенько припекло, на луг в подмогу косарям приехала косилка. Дело пошло веселее.

Коси, коса, пока роса,  
Роса долой — и мы домой...

Не вернулся домой тот первый косарь, что говорил с лосем, что обнаружил лесных беженцев. Увидев дет-

ский сад на машинах, на повозках, он вышел к полевой дороге, по которой везли ребятишек на восток, везли подальше от фашистской чумы. Долго стоял косарь, глядел вслед удалявшимся повозкам.

«Куда их везут? — думал. — Куда занесет горькая доля этих чумазных, почернелых от усталости малышей?»

А вскоре по той же дороге — колонна наших бойцов. Тоже черные, потные, в пыли.

Из белого облака вынырнул вражеский самолет, полоснул из пулемета, громыкнул бомбами по дороге. Упал в придорожную канаву косарь. Перенесли его на луг, положили на размашистый прокос под луговой осиной. А уже вечерело, стлался туман по ложбине. Человек умирал.

Не успел он закончить прокос,  
До навеса косу не донес...  
Откосился косарь, откосился,  
Тихо в зябкий туман повалился.  
Он лежит, а к седой голове  
Льнут цветы, как в последнем привете,  
И прощально ему в синеве  
Одинокая звездочка светит.

Человек умирал.

Проклиная беззвучно врага,  
Уходил, как выходят из боя,  
А его не пускали луга,  
А его не пускали стога —  
Здесь в родстве он был с каждой копною.  
Он к калинам всем сердцем прирос  
И к березам, звенящим листвою...  
Не рубите калин и берез —  
Его сердце живое.

А еще спустя несколько дней в Хатыни остановились наши артиллеристы. Пушка искалечена, изранена пулями, осколками снарядов. Кони взмокшие, на выпирающих ребрах, на холках — болотная грязь. Утомленные долгим походом, нелегким отступлением, едва ноги переставляют артиллеристы. Голодны они, не бриты, гимнастерки выцвели, но в глазах светится, живет еще надежда, что все обернется к лучшему. Однако и тревогу, и горькую

печаль можно заметить в глазах воинов. До боли обидно им оставлять родные города, деревни, дорогих людей, вот этих стариков и малышей в лесной Хатыни. А что поделаешь? Мало осталось их, батарейцев. От самой границы пробивались они, вражьими и своими костями устлали трудную дорогу войны. А ей, неумолимой, лютой, прожорливой, подавай все больше и больше жертв, все больше и больше могил на ратном поле. И что ожидает русого, ясноглазого молодого артиллериста, которого женщина поит молоком? И курносенькую юную медсестру в кудряшках, с забинтованной рукой, и этого пожилого майора, что прихрамывает, на суковатую палку опирается?..

В Хатыни тишина. Настороженная, глухая, тревожная.

Майор подходит к кучке хатынцев, достает из планшета карту, разворачивает ее, показывает на какую-то синюю ниточку-линию. Пожилой, почти лысый мужчина склоняется над картой, долго разглядывает ту ниточку, спрашивает:

— А где ж тут дорога? Куда она ведет?

— На Плещеницы, дед,— отвечает майор.— В Плещеницах немцев нет?

— А лихо их знает! — разводит руками Антон Антонович Довгель.— Может, есть, а может, и нет. У нас-то еще нет, а Демьяна убили. Бомбой с самолета убили Демьяна. А уж косарь был! А стог сметать — ого!.. Убили Демьяна. И зачем ему было...

— Погоди, дед, погоди,— останавливает его майор.— Ты про Демьяна потом. А сейчас мне нужно знать насчет Плещениц. Заняли их немцы или нет?

— Ага, заняли,— вступила в разговор какая-то старуха.— Я там у дочери была, так видела фашистов.

— Когда? — встревоженно спросил майор.

— Ноне утром видела.

Стройный и рослый майор, загорелый, с сединой на висках, сразу нахмурился, как-то сник.

— Слыхал, Солодуха? — обернулся он к политруку.— Отрезаны. Враг в Плещеницах. Нет дороги.

— А на кой ляд вам дорога на Плещеницы! — не сдержался старый Довгель.— Мало, что ли, дорог?

— Дорога одна,— майор снова достал из планшетки карту.— Вот она, дед, дорога,— показал на синюю полосу.

— Дак это на вашей карте — одна. А в нашем лесу во-она сколько! — заметил хатынский старожил.— Только что не шоссе, а проселочных, полевых, лесных дорог хватает.

И старик тут же вызвался показать артиллеристам те дороги, по которым можно было выбраться из западни.

А хатынцы между тем потчевали бойцов. В страдную сенокосную пору над трубами, над крышами хат вились синеватые дымки: хозяйки варили картошку, ботвинью из молодой свеклы с мясом. Прямо посреди улицы горел, потрескивал еловыми лапками костер. На нем в черном, задымленном котле кипела уха. Пахло перцем, разваренным луком. На столе под яблоней стояли кринки с молоком, сметаной, лежали сало, ковриги хлеба.

— Кушайте, дороженькие наши, подкрепляйтесь,— твердила, не умолкая, совсем уже дряхлая, вся в морщинах Ефросинья Ивановна Желобкович.

— Может, где-нибудь и наши сынки да внуки пыль с дымом глотают, а потом слезою черный сухарь запивают? А божечки! — почти причитала Ольга Антоновна Каминская, которая еще у магната Тышкевича жито жала, цепом снопы молотила, лен трепала, полотна ткала.

Щедро, от всей души угощали бойцов хатынцы. А тем кусок не лез в горло. И седой майор с палкой, и политрук Солодуха, и все бойцы хорошо знали, что в эту тихую лесную деревню они наведались последними, что вслед за ними явятся вражеские солдаты. Будут они есть хатынский хлеб, сало, масло, будут пить молоко. Нет, их не станут угощать. Они сами залезут своими тяжелыми сапогами в клетки, в кладовки. Это хорошо понимали и бойцы и хатынцы. Бойцам было неловко, стыдно, горько оставлять на произвол судьбы эту деревню, этих людей, которые так сердечно, так гостеприимно встретили их и которых ждет лихая беда оккупации. Хатынцам было больно расставаться с советскими воинами, отступавшими со своею израненной пушкой от самой границы и прикрывшими отход наших частей, горькое шествие беженцев.

Печальные были проводы. Плакали старики и старухи, плакали женщины и дети. У всех была одна мысль, одна забота, одна тревога: пробьются ли, дойдут ли артиллеристы до своих? Суждено ли им, пусть не всем, пусть хоть некоторым, вернуться назад с победой?

И в те трудные дни, когда советские войска отступали, наши люди твердо верили в победу над врагом. Им хотелось верить, ибо без нашей победы жизнь — не жизнь, песни — не песни. Какие же песни в неволе? Разве поет соловей в клетке?

Печальные, хмурые были проводы. Долго глядели хатынцы на серую пыльную дорогу, глядели вслед артиллеристам, которые уходили в лес, обступив свою пушку.

— Возвращайтесь, дорогие! Ждем!

— Пусть легка вам будет трудная ваша дорога!

Эти слова долетали до воинов, камнем ложились на сердце, тяжестью западали в души.

Печальные, хмурые, горестные были проводы последних советских солдат из Хатыни. От проводов этих пролег тот надежный мостик, по которому святой гнев всенародный пойдет в грозные партизанские боры и дубравы, чтобы бурными шквалами, огненными молниями пасть на головы оккупантов.

## А В БОРУ, В БОРУ...

Под вечерней зорькой по траве и цветам, над криницами и речушками катился чьей-то души голос,плыли слова старинной народной песни:

А в бору, в бору  
Три дороженьки...

Три дороженьки... Это в песне — три. А в партизанском лесу много стежек-дорожек. Проложил свою стежку и хатынский колхозник Петр Антонович Желобкович. Он партизанский связной. Идет к партизанским коман-

дирам, чтобы передать им важные сведения об оккупантах, рассказать о вражеских гарнизонах, их дислокации, вооружении. Он, как говорится, глаза и уши партизан. Его глазами лесные солдаты видят, где пришельцы стоят, чем занимаются, что выделывают в окрестных деревнях Логойщины. Его ушами слышат, как скрипят виселицы в Логойске и Плещеницах — виселицы, на которых фашистские каратели повесили коммунистов и комсомольцев.

Потаенными тропками через лозовые кусты на лугу, через заросли лещины в лесу идет партизанский связной. Остановился на солнечной лесной полянке передохнуть, подкрепиться ягодами доспелыми. Земляничкой, малиной, шмелиным медом пахнет полянка. Старая лесная груша-дичка колышет на своих ветвях белобокою сороку, колышет воспоминания партизанского связного Желобковича. Припомнилось ему, как еще в детстве обжигал тут босые ноги крапивой, колот руки злым шиповником, срывая его красные, розовые цветы, собирая в лозовое лукошко землянику, малину. А какие вкусные, сладкие были ягоды! Незабываемая пора юности! Возле костра в ночном в звездную яркую ночь свиткой, влажной от росы, он кутал еще узенькие, щуплые плечи своей первой любви — русоволосой, светлой, синеокой девчушки. Лишь эта дичка, лишь месяц холодный видели, как он выгребал из золы самую лучшую картофелину, очищал ее ножиком, смущенно протягивал своей русоволосой, синеокой.

— Ой, горячая! — перебрасывала она с ладони на ладонь очищенную, гладкую, как яйцо, картофелину.— Ой, печется!

И какая-то горячая, радостная волна обдавала его сердце. И словно бы та картофелина грела одним теплом, роднила их души. О далекий, и близкий, и всегда манящий свет юной поры!..

Почуяв человека, затрещала сорока.

— Кыш ты! Не стрекочи, сорока-белобочка! Тебе ли, вертихвостке, понять, что у меня на сердце? Ничего ты не понимаешь, хоть и хитрющая птица.

Поговорив так на полянке с белобокою сорокой, Петр Антонович Желобкович двинулся дальше. Лесная тропа

вывела его на луг, а луговая — к полосе перепутанного, поваленного, почерневшего жита.

Ой, скосили его пулеметы,  
Под корень скосили!  
Сапогами немецкой работы  
Его молотили.

Танки, сталью покрытые,  
Жито мололи,  
Вражьи кони копытами  
Хлеб замесили на поле.

Перевод М. Исаковского

С болью в сердце глядел Петр Желобкович на почерневшие колосья, не на ток, не в сусеки, а на черное поле, в глубокие воронки, высыпавшие переспелое зерно. Не станет это зерно мукой, не станет тестом в деже, не вырастет розоватыми, золотистыми караваемыми в печи. Не разрежет теплый каравай хозяйка, детям своим не скажет:

— Новый хлеб пришел в хату. Ешьте новый хлеб.

А как они его дожидались! Старый хлеб подмели фашистские «заготовители». Да и не только хлеб. Они за рога выволокли из хлевов коров, баранов, выгнали свиней, овец, гусей. Они забрали из кладовок масло, сыры, окорока, колбасы. Было что брать, было что волочь, грузить на машины, в вагоны поездов. Хорошо, зажиточно жили до войны колхозники и на Логойщине...

В партизанский лагерь пришел связной Петр Желобкович. Тревожные вести, печальные новости он принес: гитлеровские каратели налетели на Хатынь, на соседние деревни Селище и Мокредь. О том же поведал партизанам и другой связной из Хатыни — Иван Иотка. Вот его рассказ.

«Заготовители» одновременно приехали на подводах в Хатынь, Селище и Мокредь. Много их было, все при оружии. И давай чистить, подметать сусеки у жителей. Зашли солдаты и к бывшему бригадиру колхоза «Чырвоная зорка» Савелию Жидовичу.

— Где хлеб? — спрашивает у него фашист. — Давай хлеб!



— Это ты о чем? — словно не понимает Жидович и — к старосте Алексе Лису: — Скажи, падла, чего он хочет? Что ему нужно?

А староста — в амбицию, вскипел, побелел и тут же побагровел от злости.

— Он меня падлой обозвал, — жалуется солдату. — Я еще в ту войну добровольно сдался вашим в плен, язык ваш знаю, культуру вашу уважаю, ваш порядок ценю. А он на меня — падла.

— Падла, падла! — гогочет пожилой фашист.

Видно, осточертел ему болтливый, туповатый с виду, но себе на уме, с вороватыми глазами, с цепкими руками староста.

— Где хлеб? — снова спрашивает гитлеровец.

Староста перевел. Бывший колхозный бригадир сунул ему под нос кукиш.

— Ну-ну! — так и подскочил, вылупив глаза, староста. — Ты того... Руки по швам, бригадир! Говори, где твой хлеб!

— В поле хлеб. Вражеские танки, пушки смолотили жито в поле. Понял? Переведи ему, подлюга! Скажи ему, что сырою землей и тебя, и его, и всех их, бандитов, накормим! Понял?

Страшен был в своем гневе Савелий Жидович. Староста бочком, бочком прячется за фашиста. А тот и без перевода, видать, понял, что сказал этот решительный, гневный человек. Кровью налилась бычья шея, яростью взорвался напыщенный фашист. Откуда только взялись ловкость, проворство! Прикладом он сбил с ног хозяина, а потом и замок с двери амбарчика.

До зернышка были подметены сусеки у Жидовича, у его соседей, по всей Хатыни, в Селище и Мокреди. Грузенные хлебом подводы потянулись лесной дорогой в Плещеницы. Там большой гарнизон. Оттуда трудно, почти невозможно будет вернуть награбленное. Нужно в лесу перехватить обоз, нужно в лесу перебить грабителей!

Так решили партизанские командиры и, не мешкая, повели своих лесных солдат в бой с оккупантами. На узкой лесной дороге фашисты были окружены и перебиты все до единого. Награбленное добро партизаны

роздали законным хозяевам — жителям Хатыни, Селища, Мокреди.

Грозной силой стали лесные солдаты. Со страхом косились пришельцы на партизанские леса.

А в бору, в бору  
Три дороженьки...

Это в песне — три. А в том партизанском лесу много стежек-дорожек. Протоптал в том лесу свою стежку и Василий Трофимович Воронянский. Теперь уже никто не может точно сказать, какие пути-дороги привели его туда, какая судьба забросила в партизанский шалаш. Хорошо известно одно: он, советский командир, в 1942 году возглавил партизанский отряд «Мститель». Боевой, толковый человек, он в тонкостях знал военное дело, умело добывал сведения о положении и в партизанской зоне, и на фронтах. Бывало порой, что и в его мужественное сердце проникали облачка тоски и тревоги, что и он тайком смахивал с ресниц горькую слезу. И словно почуяв боль его сердца, подслушав крик его души, Аркадий Кулешов написал в ту пору такие строки:

Сводки слушаем ночью и днем —  
Сводки радуют мало.  
Слышим: солнечный город наш  
Взяли полчища вражьи...  
Одиноко иду за шалаш,  
Что ты, белка, мне скажешь?  
Разве мало дорог  
Я измерил своими ногами?  
Разве жлобинский ров  
Не своими я видел глазами?  
Дети, матери, старики  
В нем зарыты живыми.  
Долго, долго пески  
Шевелились над ними.  
И сейчас, может быть,  
Шевелятся тревожно.  
Разве можно такое забыть?  
Слышишь, белка? Забыть невозможно.

Перевод М. Исаковского

А что скажет белка? Само сердце выстукивает, высекает искрами в груди жгучие слова, заветы, наказания:

— Спасай Родину! Защищай свободу, правду!

И командир отряда Василий Воронянский был верен наказу, зову своего сердца. Он со своим небольшим в ту пору отрядом много загнал в могилы фашистского отребья. Уже в начале 1942 года партизаны отряда «Мститель» покосили пулями из своих пулеметов, автоматов и винтовок оккупантов и всех полицаев-предателей в Добрине, Янушковичах, Юрковичах, многие мужчины, юноши, девушки из этих деревень пришли в партизанские шалаши и землянки, чтобы стать лесными солдатами.

А хатынцы в то горькое время помогали партизанам одеться, обуться, прокормиться. Они готовы были отдать все. Командир партизанского отряда имени Буденного И. Д. Рахманько пожаловался как-то в Хатыни, что нет у партизан ни щепотки соли, что у многих в отряде пухнут десны, шатаются зубы. Одно спасение — соль. А где ее найти?

— Беда, сынок, беда,— сокрушался вместе с командиром старый колхозник Иосиф Иосифович Каминский.— Соли и в Хатыни нет. Рады бы помочь, да — нет. И как выкарабкаться из этой соляной беды?

Пошел Иосиф Каминский к своим соседям, к верным и надежным товарищам совет держать: где и как добыть соли, чтобы передать ее партизанам? На том совете хатынцы и порешили: нужно ехать в Борисов, нужно что-то везти в обмен на соль — за деньги ее не купишь.

И пошли с лукошками ходоки по хатам, стали яйца собирать. Полные лукошки яиц поставили на подводу, и поехали колхозники в Борисов. Оттуда привезли соль да еще и махорку в придачу. Все это добро Каминский отвез в лес партизанам.

— Принимайте, хлопцы. Вот вам соль, а в этом мешке — махорка. Дайте прикурить фашистам.

— Дадим! Ох и дадим прикурить!

— Дорогой ты наш дядька Иосиф! — не мог нарадоваться командир отряда Рахманько.— Низкий тебе поклон от всех партизан.

— Это почему же одному мне? Вся Хатынь участвовала в боевой операции.

— Всей Хатыни — поклон. Всех хатынцев обнимаем

сердечно,— говорил радостно возбужденный командир.— С такими, как вы, погоним оккупантов с земли нашей. Растет наша сила!

Всенародную силу, великую борьбу против оккупантов направляла партия Ленина. Коммунисты, оставшиеся по заданию Логойского райкома партии в тылу врага, на оккупированной территории, организовали, возглавили первые группы, отряды партизан. Еще в июле 1941 года коммунисты Логойского района собрались на свое первое подпольное собрание. Не в районном клубе, не в помещении райкома — в лесу.

Да, не под крышей — под сосной  
 Посланцев армии лесной  
 Собрал райком в ту пору,  
 Чтоб правда партии дошла  
 До отдаленного села,  
 До самой гущи бора;  
 До каждой елки и сосны,  
 До речки и тумана,  
 До всех, до всех солдат лесных  
 Дошли чтоб наши планы.

В лесу, под могучей кроной вековой сосны, сидят коммунисты, обсуждают выступление товарища Сталина по радио. Обращение начиналось словами:

— Братья и сестры!..

Нелегко было говорить. Не легче было и слушать тревожные, обжигающие слова. И вот партизаны собрались на свое первое подпольное собрание, чтобы обсудить обращение партии к народу. И каждый из участников собрания готов был в беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую пядь советской земли, биться до последней капли крови за наши города и села, за нашу свободу и добытую в боях и труде новую долю.

Коммунисты Логойщины возглавили всенародную партизанскую борьбу. В диверсионные группы, в первые партизанские отряды

Идут ребята, мужики,  
 Детишки, бабы, старики,  
 Идут подростки и девчата,  
 Горят их хаты,  
 Горит земля,

Леса с травой,  
 Огонь гуляет круговой,  
 Поля пылают.  
 Боже мой!  
 Огонь как мост  
 Встает до звезд!  
 Звонят, звонят  
 Колокола,  
 Тревога землю обняла...  
 И от села и до села  
 Встает народ.

Перевод Д. О с и н а

А захватчики тогда были еще сильны. Они сжали в тисках голодной блокады Ленинград, подходили к самой Москве. Фашистские варвары грабили библиотеки, школы, музеи. Тысячи мужчин, женщин и девочек обманом и силой вывезли в Германию и отдали в рабство помещикам и кулакам.

---

## ЧЕРНОЕ УТРО

---

Страшная трагедия Хатыни свершилась мартовским утром 1943 года. Отшумел метелями февраль. Уже не в валенках — в сапогах шагал по лужицам, по первым проталинам март. Он позвал из теплых краев скворцов, чибисов, жаворонков. Молодой смолкой-живицей заживлял раны от пуль на соснах и елях. Белоствольные березы набухали соком. Правда, кукушки еще не было слышно. Она прилетит, когда оденется листвою старый, с корявой корою дуб. А в остальном март не мешкал, пришел, долгожданный, в отведенную ему пору. Ему, веселому, гомонливому первому месяцу весны, радовались луга и поля, леса и птицы, деревни и люди. Но чуюлась в вешних звуках и запахах какая-то тревога. Словно неуловимый, таинственный призрак беды навис над Хатынью. Может, из дальних деревень Логойщины ветер пригнал, принес сюда это ощущение тревоги и настороженности? А может, то был запах гари? До Хатыни доходили вести, что оккупанты много уже сожгли деревень и сел. Сло-

вом, никогда еще не было так тоскливо и маятно жителям Хатыни, как в то мартовское утро.

— Что-то у меня нынче душа не на месте,— говорил соседу старый колхозник Константин Устинович Карабан.— Недоброе чует душа. Слышите, собака воет? С чего бы это? А еще, гляньте: кота нет в хате. Где кот? Еще вчера вечером подался куда-то из дому и нет. А что это? Примета. Недобрый знак. Быть какой-то беде. От нее кот и удрал.

— Не выдумывай пустого, Устиныч,— успокаивал старика сосед, а у самого тревожно билось сердце. И он, тоже не молодой, сухой, как щепка, дед Андрей, верил в стародавние народные приметы. Да и то сказать: во всем увидишь примету, коли беда рядом ходит. И у него, у деда Андрея, в хлеву все утро мычит да мычит корова, словно бы выскочить, удрать хочет из хлева. «Чего она, спрашивается, мычит? — думает Андрей Иванович.— Ой, дурной знак. Скотина, она чует. Наперед, нутром чует какую-либо перемену или беду... Вот, опять мычит».

А старый Карабан возьми и расскажи, какой ему приснился сон:

Вышел в поле — расцветает лен,  
 Да не синий лен —  
 Кровавый лен.  
 Я иду распаханной межою,  
 Вижу: бор встает передо мною,  
 Не зеленый бор —  
 Кровавый бор  
 Дышит мне в лицо каленым жаром,  
 И чабрец, что стлался, как ковер,  
 Вымело дыханием пожара...  
 Я-то в сны не верю ни на грош,  
 Только этот в душу пал тревогой...  
 Стекла в окнах пронимает дрожь,  
 Загудела стылая дорога.

Налетели, нахлынули каратели.

В то мартовское утро оккупанты велели жителям окрестных деревень взять топоры, пилы и выйти к шоссе Логойск — Плещеницы. А зачем туда согнали людей? Что им там делать?

Михаил Иосифович Лис из деревни Козыри рассказывал:

— Оккупанты очень боялись партизан. И не зря: те нападали на них и днем и ночью. Много лесные солдаты подорвали вражеских автомашин, танков, мотоциклов на шоссе Логойск — Плещеницы. Костью в горле стала для фашистов эта дорога, к которой подступают с обеих сторон густые кусты, березняки, ельники да сосняки. Есть где укрыться партизанам. Бьют из засад, жизни не дают народные мстители фашистам. Каждый куст, каждое дерево стреляют. Нам и приказали: спилить деревья, вырубить кусты на двести метров от дороги. Будто это спасет гадов! Всех лесов не спилишь, не вырубить!

Рубанули партизаны в то утро по фашистам. Те ехали из Плещениц. Вражеская колонна с легковой машиной впереди, а за нею — грузовики. Ехали гитлеровцы грабить, добро людское хватать. А тут из лесу раздались выстрелы: партизаны стреляли по фашистам. А когда стрельба стихла, гитлеровцы — к нам: «Партизаны! Партизаны! Всех перестреляем!» Велели нам бросить топоры, пилы и под конвоем погнали в сторону Плещениц. Навстречу ехало несколько автомашин. Солдаты и полицейские с ходу открыли огонь по крестьянам-лесорубам. Я крикнул: «Разбегайтесь! Скорее в лес!» Много наших тогда погибло. Мне удалось спастись. Позже стало известно, что стреляли в лесорубов каратели, ехавшие в Хатынь...

Налетели, нахлынули... Все люди были в деревне, не успели еще разойтись по делам, когда в Хатынь ворвалось на машинах около трехсот карателей. Командовал ими эсэсовец, лютый палач Дирлевангер, давно уже купанный в людской крови, умывшийся слезами вдов и сирот, девчат и матерей. Он приказал всех хатынцев выгнать из хат на деревенскую улицу. Солдаты, вооруженные автоматами, пулеметами, гранатами, в стальных касках, тяжелыми сапогами затопали, загремели по дворам, по хатам, по амбарам и сараям. В каждую щель, в каждый закуток заглядывали. Всех гнали на улицу: мужчин, стариков, женщин, детишек, больных и слабых старух. Кто успел обуться, а кто и босиком. Тех, у кого старость или болезнь отняли ноги, вели под руки соседи и близкие; тех, кто еще не научился ходить, несли на руках.

— Шнель! Шнель! — подгоняли прикладами людей каратели.

Несла на руках грудного младенца Вера Яскевич. Это был ее первенец. Бессловесный, он еще не мог спросить, куда мама идет, куда несет его. Он не видел, что мама словно окаменела, не видел ужаса в ее глазах. А ей казалось, что сынок все понимает, что он тоже чувствует неминуемую беду, потому так и прижался к ее груди, притаился под платком. «И куда же нас гонят? — думает объятая горем молодая мать. — Что эти злыдни с нами сделают?»

— Шнель! Шнель! — тычут каратели прикладами в спины людей. Уже всех в одну толпу собрали, всех подряд загоняют в овин. А в толпе уже слышны причитания:

— Боже милостивый, сжался, пощади! Нас же на смерть гонят. Сожгут нас в этом овине. Ой, беда, беда!

Невыносимой болью полоснул этот крик по сердцу молодой матери. Она все прижимала к себе сыночка, платком его прикрывала, будто платок мог заслонить его, маленького, слабенького от смерти.

«Неужто и его, моего жавороночка, не пожалеют? — думала в отчаянии мать. — Неужто убьют или спалят его, моего соколика ясного?»

— Ах, горяшко-горе, сыночек родной!

Сухими губами шептала —

А может, не станут они над тобой

Глумиться?.. Ты прожил так мало!

Не видел, как вишня весенней порой,

Как груша в саду расцветала;

Не слышал, как трубно кричат журавли,

Как годы пророчит кукушка,

Не знаешь ты запахов талой земли

И теплой коры на опушке;

Ни разу еще не промчался верхом

За ветром вдогонку в ночное,

Не ел, согреваясь под осень костром,

Печеной картошки с золою.

Ну, хоть бы одни истоптал сапоги,

Прочел бы хоть первую книжку...

Ты слышишь, наш татка! Приди! Помоги!

Спаси не меня — так сынишку.

Шевелились призывно губы, а сердце трепетало, выстукивало в груди: нет, никто не придет, не спасет маленького. Сама спасай, ты — мать!



И она стала потихоньку, с упрямством отчаянья проталкиваться сквозь толпу — к заборам, к голым кустикам вишенника, крыжовника по ту сторону заборов: «А может, спасу тебя, родимый мой? А может, выберемся, уйдем от беды?» И она, прижимая младенца к груди, бросилась бежать.

Вдогонку за нею кинулся рослый солдат. Схватил за руку, поволок назад, толкнул в самую гущу толпы, приближавшейся к овину.

Как слепого лирника, вели люди под руки Иосифа Ивановича Рудака. Не столько годы, сколько давняя болезнь скрутила его, приковала к постели. Прикладами подняли Иосифа Ивановича каратели.

— Шнель! Шнель!

В ноги им бросилась его жена, сухонькая, изведенная горем бабушка Прасковья.

— А куда ж вы его забираете, куда тащите больного, старого? Зачем же вам сухие кости? — просила-молила Прасковья. — Дайте человеку помереть спокойно в родной хате.

— Он сгорит! — гаркнул фашист. — И ты сгоришь! Всех — в огонь! Партизаны!

Партизаны... Это они-то, старые, больные, в чем дух держится, — партизаны? А эти чумазые, мал мала меньше детишки Иосифа Барановского — тоже партизаны? Самого младшего Барановский нес на руках. Остальные, — а их было семеро мальчуганов и девчушек, — как гусята за гусыней, шли за матерью. Они испуганными глазенками заглядывали в ее застывшие, выплаканные глаза, сами плакали, грязными кулачками утирали слезы. Те, что постарше, с тревогой глядели на вооруженных солдат, подталкивали мать, тихо шептали:

— Бежим, мама.

А куда бежать? Стволы пулеметов, автоматов нацелены в спины. Смерть глядит и в лица людям. Не убежать, не защититься, не спастись от нее, неумолимой...

Уже говорилось, что в то мартовское утро все хатынцы оставались в деревне: никто не поехал валить, рубить в лесу сухостой на дрова, никто не возил из хлевов навоз

на поле, и в Борисов никто не поехал, не повез яиц, сала в обмен на соль. Не было в то утро дома одного Ивана Яскевича. Он на рассвете пошел в лес за хворостом. Нечем было топить. В холодной печи не сварить картошки, лепешки ржаной не испечешь. А голод, как говорится, не тетка.

Когда каратели направились к хате Ивана Яскевича, его восьмилетняя дочь Лена, заметив их еще на улице, через окно выскочила во двор и притаилась в одном ей известном укромном местечке. Солдаты в дом, а она — в огород. Девочка уже не слышала, о чем говорили фашисты, не видела, что они делали в хате. Лена бежала в лес, чтобы разыскать отца, рассказать ему, что в Хатыни фашисты, что они забирают коров, свиней, кур, что они убивают людей, что ему, папочке, не надо идти домой, а лучше переждать, походить по лесу, пока эти бандиты не уедут из Хатыни. Задами, через огороды бежит девочка: «Скорей, скорей нужно бежать! Как бы папа не вышел, не показался из лесу». Вот и лес уже рядом. И тут-то ее заметили каратели. Они стали стрелять в девочку. А она, верткая, резвая, как ласточка, то за кустиком скроется, то, глядишь, в борозду упадет — никак в нее не попасть.

— Это чертенок какой-то, а не девчонка! Пули догнать не могут! — бесились солдаты. Тогда один долговязый бросился за Леной вдогонку. Куда было тягаться малышке с этим верзилой! Догнал, выстрелил... И произошло это на глазах у Ивана Яскевича. Как раз в эту секунду он вышел из лесу и увидел, узнал свою Ленку. Увидел, как она подломилась, упала наземь. Сперва он стоял, онемев, потом бросился к своей дочушке.

— Ленка! Лена, родименькая, не умирай!..

Склонился, взял ее на руки, прижал, окровавленную, к груди. Она уже и не дышала, а он все твердил:

— Лена, доченька, не умирай!..

Умерла Лена у него на руках. Он положил ее возле куста ракиты, еще постоял какое-то время, глядя на дочь, потом с топором ринулся на фашистов. Они, тренированные, профессиональные убийцы, ловко прикладами выбили у него из рук топор, скрутили Ивана и поволокли

к овину. А в овине — полно людей: мужчин, женщин, стариков и старух, грудных детей и подростков.

Начиналась самая страшная часть трагедии. О ней позднее уже рассказывал Иосиф Иосифович Каминский, тот самый Каминский, что добывал в Борисове соль и махорку для партизан, единственный взрослый житель Хатыни, чудом спасшийся в тот жуткий день, не сгоревший вместе со всеми.

Вот его рассказ — ранившая, жгучая история, страшная, полная трагизма повесть.

— Попы и церковные книги толкуют, будто на том свете есть рай и ад. Святым — рай, грешникам — ад, пекло. Я — не святой, в рай меня не пустят, — горько усмехался старый, седой, с изборожденным морщинами лицом человек. — Я и не грешник, а в пекле довелось побывать. И было это не на том свете, а в нашей Хатыни. Ой, люди добрые, что это было за пекло! Не приведи вам увидеть такое...

Я прошу старого человека, живым выбравшегося из кромешного ада, подробнее рассказать о трагедии. Он долго сидит молча, ссутулив плечи, в глазах его вижу хмурилки непреходящей тоски.

— Вот не могу говорить, и все тут. Не могу, — разводит он руками. — Как вспомню — сердце разрывается. Не поверите, душа моя и по сей день плачет.

Виду у него на веках слезы. Голос дрожит, срывается.

— Меня, жену и детей наших немцы гонят к овину. А там — вопли, крики. Голосят женщины, плачут дети, а вокруг — вооруженные солдаты. Стоят, курят, посмеиваются. Кому горе, а кому — радость. Иду, а ноги тяжелые стали, не слушаются.

— Шнель! Шнель! — орет солдат и прикладом автомата мне — в спину! Я упал, но тотчас поднялся: слышал, что эти гады лютые пристреливают слабых, кто идти не может, там, где они упадут. Плетусь дальше, в глазах темно. Бог ты мой! На пороге своего дома, раскинув руки, лежит в луже крови мой брат Иван. Я к нему, а меня снова прикладом в спину:

— Шнель! Шнель!

И больно, и горько до слез. А небо над головой ши-

рокое, жаворонки заливаются... Вот,— думаю,— пришла, видно, моя пора распрощаться с этим небом, с жаворонками. Может, последний раз рядом иду с женой своей, последний раз деток вижу...

Смолкает, секунду-другую в тяжком раздумье сидит придавленный горем седой человек.

— Поклонился Хатыни: прощай, родимая! Поклонился солнцу: прощай, ясное! Поклонился людям. Погладил по головкам детей: не обессудьте, родные, что не могу вас спасти, заслонить от смерти лютой.

Загнали нас всех в овин, а в том овине под крышей летают голуби. Через круглую дыру под коньком вылетают, прилетают, воркуют в гнездах-лубянках, в лозовых лукошках, повешенных под крышей. Люди добрые, как я в те горькие минуты завидовал голубям: они могут прилететь, могут вылететь. А я, жена моя и дети, родичи и соседи — в ловушке. И не выйти нам из нее на волю. Только туда все еще с воли пригоняют наших людей. Гляжу — втолкнули соседей моих, Рудакова, бригадира Савелия Жидовича с женой и малыши детишками. Гляжу — ведут, вталкивают в овин Иосифа Барановского, жену его и восьмерых детей — кто побольше, кто поменьше. Они к матери льнут, у отца на ногах виснут — спасите, не дайте погибнуть. А что те сделают? Кто их самих спасет? Некому было спасать, — вздыхает Иосиф Каминский. — Беда. Мука лютая... Гляжу — ведут, швыряют в овин Александра Новицкого, жену его и деток. Семеро детей у Новицких.

Тесно, душно стало в холодном, просторном овине. Некого больше гнать, всех хатынцев вместил пустой сараище. Проскрипели, затворились снаружи ворота. «Что же дальше будет? — думаю. — Может, подержат да и выпустят? Может, погонят нас куда-нибудь?» А Барановская Анна, мать восьмерых детей, рыдает, голосит: «Ой, беда, беда, деточки! Не выбраться нам из этой могилы. А никто-то нас не выпустит на свет белый. А чем же мы бога прогневали? А разве мы кому худое делали? Ой, беда, беда, деточки!..»

И вдруг эти причитания прервал жуткий крик:

— Горим!..

Горьким дымом запахло в овине. С крыши посыпались искры. «Все,— ужаснулся я,— прощай, белый свет!» А пламя уже снаружи пролизло, проточило соломенную крышу. Люди бросились к воротам. Стали колотить ногами, плечами навалились. Затрещали ворота, распахнулись. Свежим ветром дохнуло в овин, свинцовым ливнем хлестнуло... Люди назад ринулись, в овин, а на них уже падали охапки горящей соломы, дышавшие огнем стропила, жерди... Как в кузнечном горне. Трещат волосы, дымится одежда. Рядом со мною мой пятнадцатилетний сын Адам. Он что-то мне говорит, а я, хоть убей, ничего не слышу, только вижу, как рот у него раскрывается. Кричу сыну прямо в ухо: «Под ногами у людей пробирайся к воротам».

Пополз он, я— за ним. Выползли. Адам вскочил и, пригнувшись, побежал за овин. Догнали его вражьи пули. Упал сын, подкошенный очередью из автомата. Горе камнем придавило мне сердце. Бросился я к сыну, а фашист и по мне очередью. Упал я. Подошел солдат и давай меня сапогами пинать, прикладом бить. Подумал злыдень, что я уже мертв, что покинула меня живая душа. А она, в снег втопанная, пулями пробитая, была еще при мне. Не видел, как тот солдат отошел от меня. Не видел и не слышал, что творится в том овине и вокруг. Как сном забылся...

Как сном... В луже крови лежал Иосиф Иосифович Каминский. Он уже, как говорится, богу душу отдавал, с белым светом прощался. Он уже не видел и не мог видеть, как догорал овин, как догорали в том овине дети, догорали их отцы и матери, деды и бабушки, догорала жизнь Хатыни.

Догорала жизнь Хатыни. А каратели еще расхаживали по дворам, заглядывали в хлева, выгоняли коров и свиней, грузили их на грузовики. Грабители заходили в опустелые хаты. Из кладовых волокни, грузили на машины, на подводы велосипеды, швейные машины, кадушки с салом, полотна, вышитые скатерти и полотенца, кружева, подушки, самовары, даже чугуны и лохани. Длинный обоз потянулся по дороге на Плещеницы... Искусные, опытные грабители. Пол-Европы ограбили, шутка ли.

Догорали жизни людей, догорали их доля, их песни, их мечты и надежды. Занялась уже вся Хатынь. Каратели подожгли деревню, когда до ниточки, до шерстинки, до зернышка очистили каждую хату.

Горела Хатынь. То черные, то желтые столбы дыма тянулись в небо. Черные, желтые, синие тучи застили солнце, наводили ужас на птиц, спешивших улететь по-дальше от страшного места.

Горела Хатынь. Искристые, длинные языки огня вздымались ввысь, бушевали, плясали дикий танец над деревней.

— Пожар! — трещали сухие соломенные крыши хлебов, сараев.

— Пожар! — гулко хлопали черепичные, шиферные крыши домов, клуба, школы.

— Пожар! — тоскливо, тревожно шумели черные, обугленные липы, березы, рябины, яблони и вишни.

Пожар сметал, заглатывал все живое и неживое. День и ночь горела Хатынь, дымилась головешками, поблескивала красными угольями в горячей золе. Там, где был овин, меж головешек, в серой золе чернели обгоревшие кости. Зола и пепел. Головешки и кости. Обугленные бревна и обезображенные трупы.

Сто сорок девять живых душ сожрало лютое пламя. Сто сорок девять живых сердец поглотил лютый пожар.

Еще и назавтра, и на третий день над остывшим пепелищем стоял густой, тяжелый запах. Ветром его доносило до близких и дальних деревень, до боров и рощ Логойщины. Не давал дышать этот запах смерти и горя. Люди вздыхали:

— Ой, беда, беда, сгорела Хатынь, сгорели хатынцы, все до последнего сгорели.

Люди, сжимая в гневе кулаки, говорили:

— Надо идти в партизаны. Нельзя, грешно отсиживаться по хатам. Надо идти в партизанские леса, бить лютого врага. Выгнать с родной земли пришельцев.

И люди окрестных сел и деревень шли в партизаны. Росла, крепла, все более грозной делалась всенародная сила.

---

## ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ

---

Из мертвых воскрес Иосиф Иосифович Каминский. Отнесли его к леснику Петру Воронько.

— Не жилец на белом свете этот человек, ой, не жилец,— горевали, вздыхали женщины, глядя на старого Каминского.

Он, раненый, искалеченный, с переломанными ребрами, и в самом деле едва дышал, долго не мог с кровати подняться, шагу ступить.

— Спасу! Будет жить человек!— решительно сказала Мария Наумовна Анисимова, талантливый местный врач.

И спасла. Вернула его к жизни. Поставила на ноги Иосифа Иосифовича.

А кто еще остался в живых, кто спасся в то кровавое, обожненное мартовское утро? Четверо.

Каким-то чудом удалось выскочить из огня семилетнему Вите Желобковичу. Затрещали, распахнулись ворота овина. Витя, проворный, смекалистый мальчуган, проскользнул меж людей и со всех ног бросился бежать. Следом — его мать. Скосили, бросили наземь пули женщину. Упал подле нее и Витя. Он прижался к матери, затаился. Фашисты думали, что оба они убиты. А Витя, раненный в руку, тихо лежал возле безмолвной, мертвой матери. Так она дважды дала сыну жизнь: первый раз — когда родила его на свет, второй — когда своей смертью защитила от гибели.

Антосик Барановский, мальчонка двенадцати лет, был ранен в обе ноги, когда убегал из огненного ада. Кусая губы от боли, он потихоньку отползал, отползал, пока сугроб у забора не скрыл его. Там и подобрал его добрые люди, вылечили.

Володе Яскевичу было тогда тринадцать. И над ним смилостивилась судьба. Когда гитлеровцы стали сгонять людей в овин, он незаметно выскочил со двора и, прячась в садах, в огородах, выбежал в поле. Володю заметили. Просвистела пуля над головой, а он — в яму. Там прежде был картофельный бурт. Представляю, как фа-

шист, стрелявший в Володю, хвастал: «Видали, какой я меткий стрелок! Одним выстрелом на таком расстоянии свалил мальчишку!» А Володя, затаившись, сидел в яме, пока не стихли рыдания и крики, пока не прекратилась стрельба. Когда гитлеровцы уехали в Плещеницы, он бросился в Хатынь. Деревня была вся в огне. Прикрывая свиткой лицо, голову, бежал он по безлюдной, пустынной улице к своей хате. Но ее уже не было, она сгорела. Ни единой живой души в Хатыни. Ни отца, ни матери, ни сестрички Зоси... В смятении, в отчаянье стоял Володя Яскевич. Горький дым, трупный горелый запах душили мальчишку, а он, задыхаясь, глотая слезы, брел по черной опустелой улице в чистое поле. «Где отец, мать, где сестра? Может, убежали? — думал Володя.— Может, они теперь в лесу?»

Вошел в лес. Остановился, прислушался — тишина, ни звука. Даже птиц не слышать. От сосны к сосне, от лещины к лещине идет он, усталый, с пересохшим ртом, голодный. Идет, горемычный, родителей, сестренку ищет.

— А-у-у!..

Может, услышат, откликнутся родные?

— А-у-у!..

Может, услышат, откликнутся товарищи, соседи?

— А-у-у!..

Может, откликнется хоть одна живая душа?

Не откликнулась живая душа. А уже смеркается. Легкий мартовский морозец начинает слегка кусаться, хватывает снег тонким настом. Хрустит снег под ногами. А ноги гудят, ноют — целый денечек не знали покоя. Да что ноги — духом пал хлопец, сердце не на месте. «А может, еще покричать? — думает.— Вечером далеко катится голос. Может, долетит? Может, услышат?»

— Ма-ма-а!

По шершавому снегу, по ледку в низине покатился голос, далеким эхом отозвался.

На белой настылой березе захлопала крыльями, взлетая, какая-то птица, понесла голос в темную чащу. Молчит, не откликается человеческими голосами вечерний лес. Жутковато, тоскливо в глухом лесу. «Куда пойти?



Где искать родных? Может, они к родственникам в Мокредь подались? Может, там ждут меня?..»

И еще раз напоследок огласил Володя лес призывным криком.

В душе не надеясь уже на ответ,  
Спросил у нахмуренных сосен:  
— Где мать и отец мой? Живы иль нет?  
Что стало с сестричкою Зосей?

Провыл, потревожил вечернюю стынь  
В урочище волк одинокий.  
И — тихо в лесу.  
Так молчала Хатынь...  
Свети ему, месяц высокий,

Средь бора дорогу ему укажи,  
Которой он хаживал прежде...  
Мальчишка шагает,  
Мальчишка бежит  
Навстречу последней надежде.

Напрасно Володя Яскевич спешил в Мокредь. И там не нашел он родных. Да и не мог найти: они сгорели в овине, который в тот вечер еще дымился головешками, дышал горячим пеплом.

А двенадцатилетнего Сашу Желобковича спасла от смерти... лошадь. Не дала ему сгореть в овине. Дело было так: увидев гитлеровцев, ехавших на машинах в Хатынь, он стремглав бросился в хату: «Беда, папа! Фашисты едут. Много-много!»

Петр Антонович Желобкович выскочил во двор. Там стояла напряженная лошадь. «Заберут, бандиты, лошадь! А как жить без нее? Лошадь кормит семью. Надо спасти лошадь, любой ценой спасти!» И он сказал сыну:

— Садись, Сашок, скорей на подводу. Гони к тетке Марыле в Замостье. Там меня жди...

Саша вскочил на телегу, вожжи — в руки и к отцу:

— Садись и ты, папа! Удирать нужно.

— Что ты, сынок! — покачал головой отец. — А на кого же я оставлю хату? Кто корову досмотрит? Хозяйство?

— Вы не задерживайтесь, папа. Скорей в Замостье.

И затарахтели, загремели колеса по прихваченной за ночь морозцем дороге. Быстро домчался хлопец до За-

мостья на добром коне. Тетка Марыля накормила племянника, лошадь накормила. Рад мальчишка: «Не досталась фашистам лошадь. Вот она, в теткинском хлеву!.. А что это отца так долго нет? Чего он не приходит? — думает Саша.— Может, в лес погнал корову, чтоб немцы не увели? А уж лошадь им не увести. Черта с два найдут! Я спас лошадь!» А отца все нет и нет. Снова подходит Саша к лошади, по шее гладит, к теплой, мягкой морде щекой прижимается. «Где мой папа, скажи? Что он там медлит? — как у лучшего друга, спрашивает у лошади мальчик.— Ну, чего ты молчишь? Что вздыхаешь? А ты не вздыхай, не горюй. Скоро папа придет...»

Не пришел в Замостье Сашин папа. Его сожгли каратели в овине. Об этом узнали в Замостье назавтра, ранним утром.

Всходило солнце, но не светило оно Саше Желобковичу: тяжелая туча тоски и скорби закрыла его. В скворечнях посвистывали скворцы, в небе звенели жаворонки, но не веселили, не радовали они: кровью обливалось мальчишечье сердце.

Принес Саша сена лошади, а та, словно разделяя горе своего маленького хозяина, теплой мордой терлась о его плечо, не прикасалась к рыжей, перестоявшей осоке.

— Ешь, лучшего все равно нет,— уговаривал мальчик лошадь.— Было получше, да гитлеровцы забрали. Накосила тетка Марыля лугового сена, с клеверком, засушила, сгребла, в стожок сложила, а фашисты приехали и увезли стожок. Понимаешь?

И будто поняла лошадь: понюхала ту жесткую осоку и принялась есть. Мальчик молча стоял рядом, глядел на лошадь, а потом снова заговорил, стал изливать ей свое горе:

— Нет у меня папы, нет мамы, нет сестры и брата. Ни одной живой души не осталось в Хатыни. Всех убили, сожгли фашисты. Всех пеплом развеяли, дымом пустили по белу свету. Понимаешь?

И показалось мальчику, что понимает лошадь. Наставив волосатое ухо, она внимательно слушала опечаленного хозяина. Саша гладил ее нежно по шее, говорил:

— Спасибо тебе, милая. Это ты меня спасла от смер-

ти. Это ты меня вынесла из огня, из пожара. Будем с тобой жить и крепко будем дружить с тобой, умная моя лошадка...

На этой лошади Саша Желобкович возил в Замостье дрова из лесу, сено с лугов. На этой лошади маленький пахарь выезжал в поле, шел за плугом по свежей борозде. На этой лошади мальчик возил снопы. Но ни разу Саша не заехал на этой лошади на родное пепелище, где уже росла высокая, словно конопля, крапива, где буйно зеленели лопухи, где чернели задымленные остовы печей, где на крови и костях, на сером пепле взросло великое всенародное горе. Не мог, не смел он взглянуть на то место, где сгорела, обратилась в пепел новая доля Хатыни, где в лютом пламени сгорели надежды Хатыни, где горьким дымом захлебнулись песни Хатыни...

Шли дни, месяцы. На то черное пепелище не приходил и Иосиф Иосифович Каминский. Весна отдала косам травы, лето отдало серпам жито, осень отдала цепам и молотилкам тяжелые снопы, а нога Иосифа Каминского не ступала на землю, где проложено им столько следов. Отскрипели по белой дороге полозья, отрещали и смирились зимние морозы, а старик Каминский не выходил из деревни Козыри, где он жил, на дорогу, что вела к родной Хатыни. Под корою в нагретых стволах берез отбушевал сок, миновали черемуховые холода, отшумели первые весенние ливни, а изможденный, седой как лунь Каминский не видел, как пробивается, лезет на свет из-под пепла молодая трава, как дикая лебеда и крапива стелются по пепелищу. Лишь когда оделись зеленой, сочной листвой не только ясени и клены, но и медлительные, степенные дубы, серая кукушка прокуковала, позвала Иосифа Каминского из Козырей в дорогу. Повела она его за околицу, за березняк и луг. За ту черту, что отделяет зрелую пору от детства и юности.

Дорога жизни! Не прямая и не легкая она была. И босиком, и в лаптях, и — позже — в сапогах шел этой дорогой Иосиф Каминский. И вот теперь, ссутулив плечи, с посошком, с кручиной своей идет он в Хатынь, где родился, где вырос, где познал и приятную сладость, и полынную горечь жизни. А дорога бежит, ведет в далекое

уже, пусть и не золотое, но незабываемое детство, в юность, в пору зрелости и в его преклонные годы.

Нет, не назовешь золотым его детство. Но было в нем немало и таинственного, и романтического, и заманчивого. Вон в том березняке он, его ровесники, хатынские ребята, еще по рыхлому снегу, по ледку ходили, под безрезами лотки, кувшинчики прилаживали. А старый дед Пилип учил, как лучше поставить те лотки да кувшинчики.

Миновало детство — пришла юность. Черемуховым холодком и теплым духом смолы-живицы, душистым шмелиным медом на лугу и речною мятой в сердце, в душу пахнуло от тех далеких лет. Юность! Она и ныне встает живой явью, напоминает, как он, Иосиф, молодой, крепкий, пригожий парень, идет с первой на деревне красавицей под венец, как в его хате играют музыканты, а в свадебном гомоне слышится:

— Горько!

Он наклоняется к своей молодой жене, а она стыдливо опускает очи, краснеет, отмахивается легким белым платочком. Держится она, как королева, торжественная, величавая, и в то же время такая близкая, родная, милая.

— Горько!

А ему ничуть не горько. Очень уж сладки вишневые губы молодой жены.

— Горько!

А его душа радостью полнится, у него на сердце поют соловьи, звенят жаворонки.

О далекий, дивный свет тех дней!

Воспоминания уводят дальше и дальше. Вот там, возле заросшей травой канавки, стояла его горбатая, задымленная, черная кузница. В той кузнице он пудовым молотом ковал новую долю, колхозный строй ковал. И новую долю, и колхозный строй полонили, отняли у них фашисты. Стонет свобода людская, в полон взятая. Надо людей избавить от тяжкого рабства! Надо сокрушить неволю! И он, бывший кузнец, тихий сельский житель, помогает выволить из оков народное счастье. Это ведь он, Иосиф Каминский, привез из Борисова соль и

махорку партизанам. Это ведь к нему как-то под вечер в том же марте зашли лесные солдаты, попросили: «Отец, дай поесть. В блокаде целую неделю». И он подался в хлев. Там бляла овца. Одна она и осталась в старом холодном хлеву. Зарезал он овцу, ободрал, в хату принес.

— Вот, люди добрые,— сказал партизанам.— Чем богаты, тем и рады. Больше ничего у меня нет.

— А что нам еще нужно! — повеселели партизаны.— Большое вам спасибо, отец.

А он в чугунах варил, на сковороде жарил баранину партизанам. Подкрепились они и пошли своей дорогой. А потом на шоссе Минск—Бегомль засаду устроили. В том бою партизаны много фашистов перебили, еще больше ранили. А Иосиф Каминский, узнав об этом, очень обрадовался, шутил:

— От моей овцы сила у партизан. Они съели овцу, а она вона сколько съела фашистов.

— Боевая овца! — смеялись соседи.

Смеялись... А теперь нет их, добрых товарищей, соседей. И хат их нет. Не в хаты к ним — на пепелище идет Каминский, не к живым соседям и родне в гости — их праху поклониться идет согбенный горем человек. Долгая, трудная, постылая дорога. А слева и справа от нее, на обочинах, в придорожных березняках, сосняках, ельниках — могилы, могилы, могилы. А в могилах люди. Многих из них знал Иосиф Каминский, с некоторыми дружил, некоторых сам хоронил, засыпал желтым песком. Шел он, замедляя шаг возле тех уже заросших травой и цветами могил, и сердце его заходило от боли.

Еще сильнее сутулясь, шагал Каминский дальше. Колеи проселочной дороги укрыла душистая ромашка, чабрец, усыпанный искорками-цветочками, лопушистый цепкий подорожник. Старый человек срывает крупные сочные листья, прикладывает к своим затянувшимся, но еще щемящим ранам. Целительная прохлада подорожника слегка унимает жгучую боль.

«Эх, подорожник-трава, горькая голова,— вздыхает Каминский, стараясь не ступать на зеленые листья.— Незавидна и у тебя доля, подорожник. Режут тебя колеса-

ми повозки, машины, топчут тебя коровы, кони, люди, а ты терпи, живи, расти. Вот так долю моих дедов, отца моего и матери топтало вековечное горе, когда были они батраками у графа Тышкевича. Так топтала мою долю бедность, когда не было еще у нас колхоза, когда я в кузнице не жатки, не косилки чинил, а кривые серпы, косы. Встал на ноги колхоз — встала на ноги и моя доля. Так нет же, подрубили ее под корень немецкие пули и снаряды, сожгли, испепелили ее в огне каратели-фашисты».

В раздумье и печали идет Каминский пепелищем. Кланяется каждому уцелевшему кустику, каждому деревцу. Верно, и их опалило пожаром, но — выжили, снова зазеленели, напившись солнца и росы. А как же напиться ему, старому, больному человеку? Душит его жажда, во рту пересохло, а воды в колодце не зачерпнешь. Выпил всю воду пожар. Пересохли колодцы. Это война их иссушила, головешками, золой да обгорелыми костями завалила. Разевают колодцы пустые, черные пасти.

Черный, как головешка, мучимый жаждой, идет Каминский туда, где не так давно стояла его хата. Нет хаты — только битый, дымом насквозь пропитанный кирпич на месте печи да дикий камень фундамента. И все заросло травой. Но не заросла память. Как наяву увидел Иосиф Иосифович родную хату. Затем, может, и шел сюда.

А теперь дальше, дальше... Вот здесь была хата брата Ивана. Он на пороге лежал окровавленный в то мартовское утро. Убили его каратели... Наконец то, самое страшное место.

Могильный здесь царит покой,  
 Не пахнет сеном и пенькой,  
 Не слышно шума старых лип —  
 Лишь ветра всхлип  
 Да прясла скрип.

Перевод Д. О с и н а

Да, вот там, возле этого чудом уцелевшего прясла, догорал твой сосед Иван Яскевич. На нем не было ни шапки, ни свиты: они сгорели еще в овине. Горели руки, лицо, горело живое тело. «В снег, в снег!» — кричал ты

соседу. Он уже ничего не слышал. А вот там лежал, истекая кровью, твой сын Адам, скошенный автоматной очередью. Ты бросился к сыну: «Встань, бежим, Адаська!» Он чуть шевельнулся, прошептал: «Умираю, папа». И больше ни слова...

Невмоготу стало Иосифу Каминскому, когда все это припомнилось, прошло перед глазами. Неведомая сила гнала его прочь, подальше от пепелища, от жуткого безмолвия, которое угнетало и вселяло страх, спазмой перехватывало горло. Вот почему он так долго не отваживался сюда прийти. Вот почему с таким трудом, едва волоча ноги, покидает он это жуткое место, направляясь в чистое поле.

А за полем синеют леса. Вокруг солнечной полянки — поросшие вереском березняки, черничные, земляничные, малиновые дубравы, грибные, самые что ни есть боровиковые боры. Некому собирать ни ягод, ни грибов. И грибовиков, и ягодников пожрало лютое пламя, приютили сырые могилы. Здесь и похоронены они, на этой солнечной полянке.

Над могилами родных, над могилами друзей стоит Иосиф Каминский. «Как быть, что делать?» Молчат могилы.

Дальше идет человек. Луговая тропинка ныряет в теплый смолистый бор. Чист, прозрачен воздух, а ему, человеку, несущему в себе неизбывное горе, тяжело дышать. Дальше, дальше. Лесная тропинка привела в старый ельник. Духота, какая-то истома разлита в глухом лесу. Еще тоскливее стало на душе. Присел подле вековой, дуплистой ели.

— Доживаешь, старая? — спрашивает человек у дерева. — И я доживаю. На покой нам пора. А может, рановато еще?

Молчит, не отвечает ель. Тихо, душно в темном ельнике. Пусто, глухо на душе.

Сидит, думу думает человек. На шапку, на землю возле него посыпалась с ели золотистая шелуха от шишки.

— А-а, это ты, белка? Здравствуй, белка! — встал Каминский. — Что делать, как жить, рыжая?

Черными глазенками поглядела белка на человека, пощелкала алым пламенем язычка, переметнулась на ветку повыше.

— Тебе что? — размышлял вслух старик.— У тебя вон хатка в дупле. У тебя дети живы. Не убили, не сожгли твоих друзей и соседей. А у меня? У меня никого нет. Разве это не мука, разве это жизнь, белка?

Он рад был поговорить хотя бы с этим шустрым, веселым зверьком, отвести душу. И верно, словно бы легче ему стало, словно бы взяла на себя белка частицу его жгучей боли, намотала на свой огненный пушистый хвост.

А когда уже подходил лугом к Козырям, из-под ног у него взлетели два чибиса. Они кружились поодаль, кигикали, отводили человека от гнезда с маленькими птенцами. А он и с чибисами рад был поговорить и чибисам поведать о своей беде.

«Хорошо вам, вольные птицы,— думал он.— У вас — крылья. Захотели — прилетели, захотели — улетели. Зацветет гречка, а вы киг-кига, выпали снега. И полетели за море, в далекие теплые края. А у меня нет крыльев, да и не нужны они мне. Зачем мне те далекие чужие края? Я туда не полечу. И вот эти калины не полетят, и вон тот березняк. И дубрава, и бор тоже не полетят. Они глубоко в родную землю корни пустили. Они и корнями, и листвою сроднились с этим небом, этим солнцем, этой землею. И я сердцем и душой сроднился с моим краем, с этим лугом и полем, с реками и лесами... Здесь родился я, здесь мне и умирать. А зачем умирать? Нет, рано еще умирать! Из мертвых воскрес, чтобы жить, чтобы добивать лютых врагов, чтобы отомстить фашистским нелюдям за Хатынь, за эту израненную землю, за живых и за мертвых.

А наши уже близко. Они идут! Под Витебском и Оршей гремят орудия. Наши идут! Я их увижу. Еще глядят мои глаза. Мне их не выкололи фашисты. Они выкололи глаза тому лирнику, что песней своей призывал гнев и месть на головы врагов, что звал наш народ на великую борьбу против оккупантов. А он и слепой видит, что творится на белом свете. Сердцем видит. Душой слышит...



А скажите, чибисы, видали вы, слышали того лирника? Есть слух, будто бы он и сейчас ходит по деревням и селам, гневной песней зовет людей в партизанские леса, ведет партизан рельсы рвать, вражьи гарнизоны истреблять... Пойду и я за лирником!»

Горячая любовь к Отчизне вливала в него силы, наполнила верой в нашу победу. И все легче ему становилось шагать под закатным солнцем, а из росной дубравы словно бы слышались отголоски древней былины про лирника.

...На шорох, на запах несут его ноги:  
 Была здесь дорога — не видит дороги.  
 Проходит опушкой, проходит долиной:  
 Росла здесь калина — не видит калины.  
 Не видит ракиты, что в поле синела,  
 И жита не видит, хоть знает — поспело.  
 И белая гречка под пологом ночи,  
 И синюю речку увидеть нет мочи.  
 И небо и солнце черны, словно сажа...  
 Беда... Кто слепому дорогу покажет?

На шорох, на запах бредет одиноко,  
 А песня летит над простором широким:  
 — Хоть очи не видят — я вижу душою:  
 Народ мой познался с великой бедою.  
 Хоть очи не видят — мне сердце сказало,  
 Что счастье людское в неволе увяло.  
 Хоть очи не видят — я слышу ушами,  
 Как доля людская звенит кандалами.  
 Вставайте же, друзья, за долю, за счастье,  
 Вставайте стеной против черной напасти!  
 В болотные топи, в сырые могилы  
 Уложим врагов нашей Родины милой,  
 Мечом и огнем отомстим лиходеям  
 И пепел проклятый по ветру развеем!

Так легендарный лирник звал народ на великую борьбу. Да он ли один! Стоустая молва поведала в те суровые дни о полесской женщине-мученице Маланье, о ее муже Апанасе Корчике, о партизанах, делами своими стяжавших славу, которой могли бы позавидовать былинные богатыри. Людская молва рождала песни, былины, легенды.



**Здесь всегда многолюдно.**

**Иосиф Иосифович Каминский.**







У мемориала...

◀ Хатынский колокол.

Вечный огонь возле «Стены ПАМЯТИ».





**НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ.**



---

## КРОВЬ ОГОНЕК ЗАЛИЛА

---

Может, и в лесной полесский край дошла песня слепого лирника? Может, и ее заслуга в том, что сонный медвежий угол в одночасье проснулся, забурлил, что сердца полешуков — тех самых, о которых писал Купала, — исполнились великой любви к Родине, жгучей ненависти к врагу. И здесь не встали люди на колени. Они с оружием в руках ушли в леса, в болота, чтобы оттуда наносить удары по оккупантам, устраивать облавы на хищных двуногих зверей. Невзирая на голод и холод, похозяйски обжившись в гнилых, удушливых болотах, партизаны смертным боем били фашистов. А было нелегко, ох как нелегко...

Словно после нашествия хана Батыя — голо, пусто, черно было в полесском крае. Каждая лесная деревня на картах врага обозначалась как партизанский опорный пункт, подлежащий уничтожению. Всех, кого удавалось захватить в лесных деревнях, каратели расстреливали, вешали либо сжигали, загнав в хату, в хлев, в овин. Каждый четвертый белорус погиб в минувшей войне.

Горько, до боли горько. Одно может если не унять, то хотя бы ослабить эту боль: каждый погибший партизан, каждый лесной солдат брал в сырую могилу и своего врага. А мало ли было героев, которые вели за собою, в небытие, целые эшелоны врага с танками, пушками и сотнями солдат! Вечная им слава!

Слава и тем, кого миновала смерть, кто дожил до Победы. Кому не известен подвиг Героя Советского Союза, легендарного партизанского комбрига Миная Филипповича Шмырева! Сорокакилометровой ширины ворота в советский тыл держала открытыми лесная армия Батьки Миная в самую трудную пору войны. И все время в Суражском районе над штаб-квартирой Первой белорусской партизанской бригады полыхал, реял наш государственный стяг.

Да разве же это только там, на Витебщине! Родное знамя реяло и над Октябрьским райкомом партии на По-

лесье, напоминая всем и каждому: живет в тылу врага советская власть. В семнадцатом году здесь была организована Рудобельская республика. Тогда над зданием ревкома впервые взвилось алое ленинское знамя. Ни солдаты кайзера, ни легионеры Пилсудского, ни гитлеровские головорезы не властны были погасить его призывный свет. Под это знамя отважно встали верные сыны и дочери Отчизны, а повел их в бой под Рудобелкой Тихон Бумажков, первый секретарь райкома партии, повел Федор Павловский, председатель райисполкома. Эти двое коммунистов — первые вожаки партизан, первые Герои Советского Союза в рядах народных мстителей.

Память сердца невольно возвращает меня в тот партизанский отряд, к тем отважным людям, которые с гордостью и с горечью говорили:

Третий год не брали  
в руки мы серпов,  
на току не стлали  
золотых снопов,  
пыль с земли на игрищах  
тучей не встает,—  
но о нас по-прежнему  
слава вдаль идет.  
— Кто ты?  
— Я из Дубровки!  
— Значит,— партизан!  
. . . . .  
На костях немецких  
высится курган.

Как стога в сенокосную пору на лугу, росли курганы на вражьих костях. Гнев народный загонял врагов в землю, в топи непроходимые, в «чертовы окна» полесских болот. И они зверели, срывали зло на мирных людях.

Как и в Хатынь, нагрянули в тихую лесную деревню погожим утром каратели.

Беспутной собачьей свадьбой  
ворвались немцы в усадьбу  
на танке  
к полесской крестьянке  
июльской раннею ранью.

— Ты Корчик Маланья?  
 — Маланья.  
 — А муж твой — лесник?  
 Большевик?  
 Суровая, немолодая,  
 стоит она, шепчет:  
 — Не знаю.  
 Где муж мой — не знаю, не знаю,  
 под небом клянусь вам — не знаю...  
 Вторая неделя идет,  
 как сердце томится и ждет.  
 А староста вьется, как бес:  
 — Ушел с партизанами в лес!

Жизнью и небом клялась женщина, что муж ее — партизан, что он пошел искать корову, которая не вернулась с поля, и вот уже сколько дней его нет. Как в воду канул. Посадив на танк, каратели привезли женщину в соседнюю деревню и там придумали ей наказание: дали в руки зажженную свечку:

— Донесешь огонек до своей хаты — жить будешь, погаснет — пулю получишь.

Идет Маланья, босые ноги полощет в росе. А люди стоят, глядят, вздыхают: «Дай-то боже, чтобы донесла!»

А ветер текучий от речки  
 волной наплывает на свечку,  
 и свечка мигает,  
 мигает...  
 И еле Маланья ступает,  
 ладонью огонь заслоняет:  
 — Ой, ветер!  
 Ой, ветер крылатый!  
 Мне близко осталось до хаты.  
 Прошу я:  
 утишься, мой любимый, —  
 шептала,  
 кусала иссохшие губы  
 и ветер глотала.

А каратели глядели на женщину, на свечку у нее в руках и — хохотали. Уж очень по душе пришлась им эта забава, эта дьявольская пытка.

Как звездочка, свечка,  
 как зорька,  
 мелькает меж сосен за горкой.



Идет, затаивши дыханье,  
 к родимому дому Маланья,  
 к крыльцу осторожно идет;  
 и липы у старых ворот  
 стоят, не шелохнут:  
 — Пришла!  
 И немцы глядят из села:  
 — Донесла?

И все вокруг словно бы повеселело, и люди были рады:

— Донесла! Не погасла свечка. Будет жить Маланья. Да разве эти нелюди сдержат свое слово?!

Июльскою раннею ранью  
 три пули догнали Маланью:  
 упала она,  
 поползла,  
 и кровь огонек залила.

Перевод Д. О с и н а

А фашистам все мало было людской крови. Гитлер своим головорезам приказывал уничтожать население.

В обращении немецкого командования к солдатам говорилось: «У тебя нет сердца, нервов, на войне они не нужны. Истребляй в себе жалость и сочувствие — убивай каждого русского, советского, не останавливайся, если перед тобою старик или женщина, девочка или мальчик,— убивай. Этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься вовеки!»

И фашистские солдаты послушно следовали этому наказу: расстреливали и вешали наших людей, травили их собаками, морили голодом, уничтожали в «душегубках». Фашистские варвары с равнодушием, с холодной рассудочностью профессиональных убийц учиняли свои кровавые расправы над мирным белорусским населением. Кровь стынет в жилах, когда читаешь дневники, найденные у убитых гитлеровских солдат и офицеров. Вот лишь несколько выдержек.

Отпетый фашист Эмиль Гольц, член национал-социалистской партии:

«21 июня. Мы в Модлине. Расположились в еврейском квартале. Когда видишь эти слоняющиеся фигуры, под-

мывает охота нажать на курок и расстрелять этот сброд. Ну, погодите, мы еще доберемся до вас!

25 июня. Проходя через Слоним, вместе с Вальтером принял участие в очистке лавок и квартир. Кое-какие нужные вещи я захватил в машину.

28 июня. На рассвете мы проехали Барановичи. Город разгромлен. Но сделано еще не все. По дороге от Мира до Столбцов мы говорили с населением языком пулеметов. Крики, стоны, кровь, слезы и много трупов. Никакой жалости мы не испытывали. В каждом местечке, в каждой деревне у меня чешутся руки. Хочется пострелять из пистолета по толпе. Надеюсь, что сюда скоро придут отряды СС и сделают то, чего не успели сделать мы.

5 июля. В 10 часов мы были в местечке Клецк. Сразу же отправились на поиски добычи. Выламывали двери топорами, ломками. Всех, кого находили в запертых изнутри домах, приканчивали. Кто действовал пистолетом, кто винтовкой, а кое-кто штыком и прикладом. Я больше пользуюсь пистолетом».

Другой головорез, обер-ефрейтор Иоганес Гердер:

«25 августа. Мы бросаем ручные гранаты в жилые дома. Дома очень быстро горят. Огонь перебрасывается на другие избы. Красивое зрелище! Люди плачут, а мы смеемся над слезами. Мы сожгли уже таким способом деревень десять.

29 июня. В одной деревне мы схватили первых двенадцать жителей, попавшихся под руку, и отвели их на кладбище. Заставили их рыть себе просторную и глубокую могилу. Славянам нет и не может быть никакой пощады. Проклятая гуманность нам враждебна».

Враждебна была гуманность и тем фашистским людоедам, что утром 17 мая 1943 года ворвались в Лесины Логойского района. Их было около двухсот человек, на машинах. Они собрали всех жителей деревни и загнали в сарай, где держали до 4 часов дня, после чего подожгли его. Тех, кто пытался вырваться из огненного ада, каратели расстреливали из автоматов и снова бросали в огонь. Малых детей, которые не попали в сарай, они ловили по дворам, на улице и бросали в колодцы. Сто шестьдесят душ загубили озверелые оккупанты, спаслось

лишь восемнадцать человек: они были в других деревнях, помогали родственникам в поле.

Назавтра, 18 мая, немцы снова явились в Лесины, чтобы сжечь, сровнять деревню с землей.

Жизнь и долю людскую дымом пустили... Глотая дым и слезы, шла седая, сгорбленная женщина. Она не жила в Лесинах, а откуда пришла — неизвестно. Ходила по черному пепелищу, в колодцы заглядывала. Женщина была еще не стара — видно, горе враз скрутило ее. Худая, какая-то выцветшая, настороженная, она побродила по пустынным улицам, где недавно бушевало пламя, молча вышла на полевую дорогу. Брела, глядела в землю, а увидев на песке следы маленьких босых ног, долго присматривалась к ним и что-то шептала. Много, видно, прошла она дорог: старенькие туфли истоптались, юбка висела лохмотьями, а платок выгорел, выцвел, как и сама женщина. Ее встречали то на лугу, то в поле, то в лесу. Она подходила к косарям, спрашивала:

— Скажите, люди добрые, может, видели моего мальчонку? Пропал мой Василек, где искать — не знаю...

И рассказывала о своем горе. Пошла в поле полоть лен, а фашисты в тот день возьми и заявись в Прудок. Ограбили село, людей перебили, многих заживо сожгли в хатах. А ее Василек будто бы сумел убежать, спастись от лютой смерти. Может, он где-нибудь по лесу скитается? Может, в жите где-нибудь прячется? А может, изловили его.

Косари разводили руками, ничего не могли сказать женщине: не видели они Василька.

А она — из деревни в деревню, с луга — в поле: ищет сынка своего, свою кровиночку.

В жито идет, у жней спрашивает:

— Может, вы, бабоньки, видели моего Василька?

Поглядела на нее одна суровая, острая на язык тетка и говорит со злостью:

— У нас и своих васильков девать некуда. Видишь, одни васильки, а не жито. Задушили васильки наше жито.

А она снова про своего Василька, про беду свою. Прикусила язык та суровая жнея, подобрела:

— Восемь годков ему, говоришь?

— Девятый пошел. Беленький такой, а глазки синие-синие.

Вздыхают, сочувствуют бедной женщине жнеи, а помочь ничем не могут: не видели они беленького, синеглазого Василька.

Ни в высокой траве, ни в орешнике,  
 Ни в дубраве родимого нет...  
 И пошла, и пошла, безутешная,  
 Подалася за солнышком вслед.  
 То пригорком крутым, то долиною,  
 По коврам вересковым идет.  
 Где сухою тропой муравьиною,  
 Где росистой тропой средь болот,  
 Где полями, что осень повыжала,  
 До закатной зари добрела —  
 Ни словечка о сыне не слышала,  
 Ни следочка его не нашла,  
 Ни могилки под белой березою...  
 Сердце болью сковало в груди.  
 ...Юный месяц, умывшийся росами,  
 Все бежит да бежит впереди,  
 Как, бывало, бежал ее беленький,  
 Озорной, синеглазый сынок...  
 Зашумите вершинами, ельники!  
 Может, голос подаст Василек?

Сколько мук приняла ты, женщина-мать!

А вот еще одна страница былого. Воскресла из мертвых, с того света вернулась минчанка С. И. Савинская. За связь с партизанами она была брошена в минскую тюрьму.

«Полные машины мужчин, женщин, детей, стариков фашисты привезли в деревню Малый Тростенец,— рассказывала Савинская.— По команде немецких палачей женщины по четыре выходили из машин, взбирались на груды трупов, и там их расстреливали. А большой хлев неподалеку уже был забит трупами наших людей, расстрелянных прежде. Дошла очередь и до меня. Когда слышались выстрелы, я тотчас упала и была лишь легко ранена в голову. Лежала на трупах до позднего вечера. Гитлеровцы в этот день привезли в хлев еще две машины женщин, и они были расстреляны. Привезли в тот хлев и детей от трех до десяти лет. И этих малышей перестреляли фашисты. Они на каждый слой трупов клали дрова,

обливали их бензином и с наступлением сумерек поджигали. Вижу, и меня ждет мучительная смерть в огне. Решила бежать. Стала помаленьку из-под трупов выбираться, выползать наверх. Выбравшись, увидела двоих мужчин, которые были ранены, но еще могли двигаться. Втроем мы и стали осторожно отползать подалее от тех штабелей трупов и дров. Немецкий конвой заметил нас и открыл огонь. Оба мужчины были убиты, а я уцелела. Побежала в кусты, в болото. Фашисты меня искали, но не нашли. Я их из кустов видела, они на лодках плыли. Совсем близенько ко мне подплывали, да не заметили, где я притаилась, где забилась в болотный мох, в ракитник. У них, гадов, была собака, но она только скулила, не хотела лезть в холодную воду. А я лежала в воде. Сколько прошло дней, уж и не помню. И все ела одну траву да лягушек. Очень хотелось дожить до нашей победы над проклятыми фашистами...»

О, как хотелось жить и дожить до победы тем юношам, девушкам, молодым женщинам, детям, которые пласт на пласт легли трупами в глубоких канавах, сгорели в чудовищных печах Малого Тростенца!

Жуткую, полную трагизма картину воскрешает перед нами акт минской областной комиссии о массовом уничтожении советских граждан на территории города Минска и в его окрестностях немецко-фашистскими захватчиками в 1941—1944 годах. Вот некоторые выдержки из этого страшного в своей достоверности документа.

На 11-м километре от Минска по Могилевскому шоссе, неподалеку от деревни Малый Тростенец, обнаружены 34 ямы-могилы, замаскированные сосновыми и еловыми ветками. Некоторые могилы достигали 50 метров в длину. В могилах на глубине трех метров найдены перегоревшие и обугленные человеческие кости, слой пепла толщиной от 0,5 до 1 метра. В некоторых ямах на дне лежали обугленные бревна, а под ними кости и рельсы.

Вблизи ям было обнаружено множество мелких человеческих костей, человеческие волосы с гребенками, зубные протезы, вилки, ножи, котелки, бумажники. Осенью 1943 года немцы, чтобы скрыть свои злодеяния, разрыли могилы и сожгли трупы.

В районе Шашкова, что неподалеку от Тростенца, осенью 1943 года немцы соорудили специальную кремационную печь для уничтожения трупов своих жертв. В печах сжигали трупы расстрелянных и удушенных окисью углерода в «душегубках». Зола из кремационной печи рассеивали на полях подсобного хозяйства, принадлежавшего немецкой полиции. Около печи найдены различные лохмотья, остатки одежды, обуви, корки, крошки хлеба, мешочки с картофелем.

В деревне Малый Тростенец рядом с сожженным хлебом на ярусе бревен лежало 127 не полностью сгоревших трупов мужчин, женщин и детей. Вблизи пепелища найдено много вещей личного пользования: чемоданы, котелки, палатки, кружки, стаканы, ножницы, бритвы, ножи, зажигалки. В хлеву и на штабелях бревен было сожжено около 6,5 тысячи человек.

Комиссией было установлено, что в Минске и его окрестностях немецко-фашистскими властями и командованием германской армии было уничтожено 300 тысяч советских людей, не считая многих тысяч, сожженных в кремационных печах.

Гитлеровские убийцы старались замести свои кровавые следы, скрыть свои преступления.

Уцелевшие, выжившие жители Рогачева вспоминают чудовищную картину, очевидцами которой им довелось быть. Весной 1942 года водой размыло канаву, где было зарыто более трех тысяч трупов. Трупы плыли в реку Друть. Гитлеровцы мобилизовали все население вылавливать их баграми, а потом заставляли жителей снова зарывать их в землю. Перед отступлением из города фашисты, чтобы замести следы, еще раз стали раскапывать канаву. Из нее были извлечены все истлевшие трупы, скелеты, кости и сложены в штабеля: ряд трупов и костей, а поверх его — ряд бревен. Все это обливали керосином, бензином, смолой и поджигали. Три дня и три ночи трещало, бушевало пламя, высоко вздымались клубы дыма.

Нет, такого не скроешь! Это видели солнце и звезды, видели горожане, видели жители ближних и дальних деревень и сел...

Видело небо, видело утреннее солнце, как в село

Бойки Брестской области ворвались гитлеровские бандиты. Всех жителей — а их было 957 человек — палачи стали загонять в хлева. В один хлев — мужчин, в другой — женщин. Мужчин расстреливали группами по 6—7 человек. Раненых, слабых, больных бросали в яму, заживо засыпали землей. Женщин сожгли в хлевах. А на детей бандиты устроили целую облаву, натравили собак — около двух десятков немецких овчарок. Они рвали, загрызали насмерть малышей и подростков.

Житель деревни Присно Могилевского района С. И. Пилунов рассказал:

«В окрестностях Пашковского леса было зарыто почти 35 тысяч убитых, расстрелянных наших людей. Нам было приказано выкапывать эти трупы и сжигать в специальных печах. На второй день, после «работы» приехал туда начальник гомельского гестапо — не могу вспомнить фамилии, начинается на букву Б. Он дал нам по ломтику хлеба, а потом велел петь.

— Нужно петь! Люблю русскую песню. Нужно хорошо петь.

А через день некоторых из нас в «душегубке» повезли в местечко Азаричи — из могил и канав выкапывать трупы советских людей. За шестеро суток мы только из трех могил извлекли около четырех тысяч трупов. А сколько их было в других могилах, ямах, канавах?! Может, шесть тысяч, а может, и десять. А по приказу того «любителя русской песни» всё расстреливали, вешали наших людей, а их трупы сжигали в дьявольских печах. По его же приказу много-много наших парней и девчат, здоровых, крепких мужчин и женщин отправили в Германию, в неволю. Пусть они и там поют русские да белорусские песни. А почему бы и нет? «Веселее» будет с песней гнуть спину в каторжном труде!..»

За три года оккупации фашисты вывезли из Белоруссии в Германию около 380 тысяч человек.

Гитлеровская каторга — это глухая могила, в которой были похоронены, задушены и свобода, и песня, и радость наших людей. Их горькие чувства, их боль и тоска очень полно и страстно высказаны в письме молодой девушки-полонянки к ее милому:

«Дорогой!  
 Не расстаться с тоской,  
 Невеселый мой путь, невеселый...  
 Покидаем родимые села,—  
 И увозят по взгорьям, по долам  
 Нас в неметчину,  
 Будто в туретчину...

Будто в туретчину... От наших пращуров, из поколения в поколение передавалась страшная трагедия того, турецкого плена. И этот новый, фашистский плен был так же горек и невыносим для девушки-полонянки, которая прощается с родимой землей.

Мечты юности, жадная радость жизни перечеркнуты, втоптаны в грязь одним этим словом — «неволя». И Днепра берега, и синие васильковые венки завяли, поблекли в тоске и кручине. И такой жгучей болью пронизано сердце девушки, что ей не мил белый свет. Но она еще не потеряла надежды, в ее сердце жива вера в нашу победу. Поэтому кончает свое письмо к любимому такими словами:

Болью сердца всего  
 То письмо написала дивчина.  
 Ты читай и ответ на него  
 На штыке донеси до Берлина...»

Перевод М. Петровых

И он, юноша, услышал эти горячие слова, сердцем принял этот наказ изболевшейся, открытой души. Отныне одна мысль у него, одна высокая и почетная задача: нужно спасать полонянку-Беларусь, нужно все силы отдать для освобождения Родины. Как самого себя, так и любимую девушку он не мог отделить от Родины, это единение было непоколебимо. В облике озерной Беларуси он видел ее — синеокою, русоволосую, милую его сердцу девушку. И он выполнил ее наказ: дошел до Берлина.

Дошел! А нелегко, ох как нелегко было дойти до этого звериного логова.

Войска трех белорусских фронтов перешли в наступление. От Западной Двины до Припяти прорвали они фронт противника, окружили и уничтожили в районах



Бобруйска и Витебска, в «минском котле» крупные вражеские соединения. В конце августа 1944 года полностью была очищена от оккупантов Беларусь и часть Польши...

Недалеко от Люблина, на израненной, исстрадавшейся польской земле, советские войска обнаружили подлинное подобие ада — лагерь смерти Майданек. Сюда фашистские палачи свозили миллионы людей со всей Европы. Мучеников гнали в газовые камеры и умертвляли газом «циклон». Целыми сутками, неделями, месяцами дымили, не переставая, высокие трубы крематория, в котором гитлеровцы сжигали людей. Полтора миллиона человек — русских, поляков, чехов, французов, голландцев, евреев — уничтожили, сожгли в Майданеке фашисты. На своем пути к Берлину советские воины встретили и другое, еще более жуткое порождение фашизма. Это был лагерь смерти Освенцим. Свыше четырех миллионов человек нашло гибель в Освенциме. Ураганной силой нашего освободительного похода были сметены, стерты с лица земли эти лагеря смерти. Сквозь дым и свинцовый ливень, сквозь кровь и огонь рвались советские воины к вражеской столице.

А Берлин был превращен в мощную крепость. Подступы к нему преграждали три оборонительных рубежа с глубокими противотанковыми рвами, рядами гранитных надолб, сотнями минных полей. В сталь, в бетон, в гранит оделся Берлин. Но крепче стали и гранита был советский воин, стоявший у порога вражьего логова. Десять суток днем и ночью на улицах Берлина бушевало пламя, горело железо, плавился асфальт, крошились камень и кирпич. Каждое здание приходилось брать с боем. Враг люто огрызался. Однако 30 апреля 1945 года советские войска прорвались в центр Берлина, начали штурм рейхстага. В коридорах, на всех этажах шли жаркие стычки, а в 14 часов 25 минут полковые разведчики, сержанты Михаил Егоров и Милитон Кантария подняли над рейхстагом знамя Победы. В глубоком железобетонном темном подвале покончил жизнь самоубийством Гитлер. Конец третьему рейху, конец вражескому сопротивлению. 2 мая берлинский гарнизон капитулировал, а 8 мая в Бер-

лине представители немецкого главнокомандования подписали акт о безоговорочной капитуляции. Великая Отечественная война завершилась полной победой советского народа...

Земля ждала пахарей и сеятелей, луга ждали косарей, кузницы ждали кузнецов, шахты ждали шахтеров, а заводы — рабочих. С ратного поля пришли фронтовики, из партизанских шалашей и землянок вернулись партизаны, зазвенели топоры и пилы на новых срубках, запели косы на лугах.

Многие пришли с войны с пустыми рукавами, с казенными ногами. Многие вовсе не вернулись на то мирное родное поле, где до войны они пахали, сеяли, жали... А поле было заброшено — прошлась по нему война.

Здесь не пахарь, не сеятель шли бороздой —  
 Злая доля с лукошком шагала:  
 То полынью седой,  
 То травой-лебедой  
 Нашу ниву она засекала.  
 Оккупанты-кусты наступленья ведут  
 На подзол, на пригорок песчаный;  
 Лиходейка-война щедро сеяла тут:  
 Сплошь могилы, кресты да курганы.  
 Сытый ворон на грушу взлетел у межи,  
 Огляделся вокруг воровато:  
 За окопом — окоп...  
 Блиндажи, блиндажи —  
 Нераспаханной нивы мандаты.

И не раз, и не два от боли сжималось, давним горем полнилось сердце старого Каминского, когда он вспоминал страшную трагедию Хатыни, когда осенней порою с тоскливым криком журавлиным смешивалась и его тоска, когда он слышал, как рыдания вдовы разрывают тишину, а в тихий напев-ручей колыбельной падает тяжелая материнская слеза. И он утешался тем, что залечивает многострадальная земля свои раны, что заросший пыреем клин за деревней не бомбами, а плугами вспахали, что стогуют сено за рекой, что растут здесь и там новые хаты...

Отступает с годами горе... Но в памяти народной живы и будут жить, будут тенями вставать из могил и кур-

ганов, с затравяяемых пожарищ, из развеянного ветром пепла двадцать миллионов убитых, повешенных, сожженных наших солдат и партизан, наших советских людей.

Отступает с годами горе... Но мы не можем, не имеем права забыть, что где-то до сих пор ходят по земле убийцы, вешатели, разбойники и насильники из фашистских армий. Это они оставили на земле кровавые, незаживающие следы: в Польше — Майданек и Освенцим, во Франции — Орадур, в Чехословакии — Лидице, в России — Красуха, на Украине — Бабий Яр, в Литве — Пирчюпис, в Белоруссии — Хатынь.

---

## БРОНЗА. КАМЕНЬ. СКОРБЬ

---

Хатынь — это суровая народная память. Хатынь — это бронза, камень, безмерная людская скорбь.

По решению Центрального Комитета Коммунистической партии Белоруссии и правительства республики на месте Хатыни сооружен мемориальный комплекс. Это вечный памятник погибшим советским людям, сотням деревень и сел, которые были сожжены, стерты с лица земли оккупантами.

Торжественно-траурная церемония открытия комплекса-памятника происходила в Минске. На площади Победы собрались представители трудящихся всех районов столицы, партийных, советских и общественных организаций республики, ветераны Великой Отечественной войны.

От Вечного огня у подножия монумента Победы зажгли факел и поднесли его к чаше, установленной на бронетранспортере. Он в сопровождении почетного эскорта совершил круг по площади Победы и направился в Хатынь.

Звучат траурные мелодии. Они растут, возносятся над площадью, над живой людскою рекой, что течет по Ленинскому проспекту. На медных трубах горит, полыхает солнце, а в сердцах горит, полыхает негасимый огонь не-

нависти к лютым извергам, к черной силе, искалечившей, испепелившей, загнавшей в могилы миллионы и миллионы наших людей. Я вижу прославленных ветеранов, легендарных борцов за великую Правду, за нашу Свободу. Широкая людская река несет седого, преклонных лет человека — на груди ордена и медали, в руке ореховый посошок. Кто он? Идет полуслепой, годами — а может быть, ранами? — иссушенный старик, идет дальше, дальше, посошком дорогу нащупывает, а посошок ведет его за горod, в поле.

Ведут людскую реку сияющие медные трубы. В тревожном, похожем на рыдания гуле труб, в скорбной музыке словно бы слышатся людские проклятия и стоны. И все это многоголосие эхом катится по земле, по лугам, по лесам Беларуси, испокон веков надежно, твердо стоявшей на западном рубеже Родины, на границе с чужим, враждебным миром, грудью встречавшей незваных пришельцев. И в Великую Отечественную войну не стояла она печальной нищенкой на перекрестке дорог, а поднялась грозною силой, заслонилась от врага могучими стенами Брестской крепости, партизанскими пущами окружила, обступила его, сея ужас в разбойничьем стане...

Из Минска, с площади Победы, едет в Хатынь Вечный огонь.

Сквозь огонек тот синеватый  
 Не только кровь да боль видны.  
 Я вижу: грозная расплата  
 Нашла виновников войны.  
 Идет чужими городами,  
 Минует реки и мосты...  
 А где прошла она, — рядами  
 Стоят могильные кресты.  
 А на крестах ржавеют каски —  
 Напрасно брали их в поход...  
 Победный май цветет, как в сказке,  
 И все живое вновь живет.

Из Минска, с площади Победы, едет в Хатынь Вечный огонь — символ нашей силы, нашего бессмертия.

Дорога Минск — Витебск пролегла сквозь кусты лозы и березняки, сквозь сосняки и ельнички. То на пригорок взберется, то катится с пригорка вниз. Не так давно была

эта дорога — хуже некуда: булыжник искрошен гусеницами танков, колесами тяжелых орудий. Теперь здесь зеркальный, гладкий асфальт. Теперь с рассвета до вечерней зари бегут-спешат по этой дороге легковые машины. В них едут делегации из России, с Украины, из Грузии, Латвии, Молдавии, из всех республик нашей Родины; едут наши побратимы из социалистических стран, едут туристы из разных стран. В автобусах, на грузовиках едут со своими учителями школьники, едут колхозники, рабочие совхозов и заводов.

Бежит под колеса машин дорога, а справа и слева — зеленые луга и долины, холмы в кудрявых березках, в жесткой щетине ельников, лесные солнечные полянки. Осенью они пожелтеют, зазолотятся, станут задумчивыми и чуть-чуть печальными. А сейчас — солнцем и росами напоены, в зелень и пестроту цветов разодеты. И надо всем этим, заглушая симфонию моторов, звенит напев жаворонка, плывут глоса жалейки, слышна то ближе, то дальше юной души, сенокосной поры песня...

А дорога бежит через Боровляны, Острошицкий Городок, через Логойск. Здесь она принимает влево и ныряет вскоре в вековые густые влажные ельники, в смоляные теплые боры, в дубовые, березовые рощи. То с одной, то с другой стороны из этих лесов выбегают к асфальту узенькие лесные дорожки: глубокие колеи заросли зеленой муравой, белыми ромашками.

Может, по этой, что справа, а может, по той — слева — дорожке шли, пробивались к своим те артиллеристы, которые попали было в окружение и которым показал дорогу из Хатыни старый колхозник? Может, по этой — в ельнике, — а может, по той — в березняке — дорожке ехал Иосиф Каминский, вез партизанам махорку и соль из Борисова? Может, вот в той березовой, калиновой долине, а может, в том холмистом, с ореховым подлеском бору женщина из Логойска, пожилая мать, своего сына-партизана искала?..

И лес этот слышал, как плакала мать навзрыд в своем неутешном горе, проклинала фашистских душегубов. И партизаны услышали крик ее души, почуяли ее боль. Не топоры лесорубов

На рассвете стучали, стучали  
 По стволам в гаю —  
 Били гадов соколы, соколы  
 В кровавом бою.

И эхо того боя, и скорбный голос матери докатились из лесу до фронта, до наших краснозвездных солдат. Они пришли на Логойщину, пришли выручать своих близких, изгонять оккупантов. Радовались люди, встречая советских воинов, своих освободителей. И у матери отлегло немного от сердца. Радостно, душевно обнимала она бойцов и командиров. В лесу, на вересковой поляне, их встретила.

А в лесу-то зелено, зелено,  
 И — видать за версту —  
 Легким пухом белено, белено —  
 Вереск в позднем цвету.

Еще не побелел вереск, когда из Минска в Хатынь ехал Вечный огонь. Тогда были белыми, зелеными, розовыми, голубыми от обилия цветов лесные полянки, лужайки, обочины дороги, что привела на пятидесятый километр от Минска. Здесь, справа от шоссе, сложен из черных, словно обугленных венцов-брусьев прямоугольник. На нем большими буквами выведено одно-единственное слово: ХАТЫНЬ.

Жгучее, полное боли слово. Оно стучит в сердце, оно повелевает:

— Сверни направо!

И легковые машины, автобусы, грузовики, мотоциклы, велосипеды, пешеходы сворачивают направо. Теперь здесь новая, отличная дорога. Давно нет в помине того разъезженного, размытого дождями проселка, что вел в тихую лесную деревню. Нет и самой деревни. Есть только призрак, символ ее, но и его я еще не вижу. Он там, дальше, за спиной черного, обугленного человека. А этот исполинского роста человек словно бы идет мне навстречу, словно бы тихо говорит мне:

— Видишь, я иду. Я выжил. Я живу в этой черной бронзовой фигуре. Я на бронзовых руках сына своего держу. Узнаешь, это он, мой Адастик...

На длинных руках человек держит перед собой так-го же, как сам он,— черного, обугленного мальчика. Голова его запрокинута, ноги свисают до колен высокого, сутулого человека. Всмотриваюсь в морщинистое лицо старика, в высокий, с залысинами лоб, гляжу на его узловатые, черные, как корни старого дуба, пальцы. В его облике узнаю того самого крестьянина, работающего колхозного кузнеца Иосифа Иосифовича Каминского, что в памятный мартовский день 1943 года чудом выбрался из горящего овина, чтобы прожить еще три десятка лет.

Бронзовый исполин с мертвым мальчиком на руках в скорбном молчании глядит на людей, а они подходят, останавливаются, обступают его и не могут отвести глаз от человека, воскресшего из мертвых. Бывало, что и он, Иосиф Каминский, остановится возле этой бронзовой фигуры, постоит, покачает седой головой и тихо скажет:

— Люди... дорогие вы мои... Это — я. А это — мой сын, мой Адастик... — покажет рукой на черную бронзу и умолкнет: душат его слезы, спазма сжимает горло. А ему обязательно нужно поведать о той жуткой трагедии, с добрыми людьми своим горем поделиться. И он дрожащим голосом негромко ведет рассказ:

«...На мне горит одежда, тело горит, сам я весь в крови, а к сыну, к Адастику моему, еще как-то подполз. Поднял, а у него живот пулями перерезан. Умирает Адастик... На руках у меня умер сынок... А меня сбили злодеи с ног, затоптали в кровавый снег, стукнули прикладом:

— Капут! Готов!

И пошли жечь Хатынь...»

Всю эту страшную правду, эту огромную трагедию очень точно, умело, тонко передал в бронзе наш талантливый белорусский скульптор Сергей Селиханов, создав величественную, суровую и скорбную фигуру старика с мальчиком на руках.

Когда было принято решение создать в Хатыни мемориал, молодые архитекторы Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин, известный скульптор Сергей Селиханов и главный инженер проекта Василий Макаревич нашли наиболее точное решение темы. На конкурсе их проект оказался лучшим. Суровым языком камня и брон-

зы сумели они правдиво и сдержанно рассказать о хатынской трагедии.

За спиной бронзового исполина — черные, серые, словно подернутые пеплом, припорошенные сажей фундаменты, венцы срубов, печные трубы — потрескавшиеся, опаленные огнем. На местах, где стояли хаты, теперь высятся 26 стелл и столько же «срубов» из бетона. Стеллы напоминают печные трубы. Напоминают... Тем черным, серым срубам не подняться выше первого венца; из тех черных труб не потянутся к небу синеватые, белые веселые дымки. Не теплый запах жилья, а печальный перезвон доносят до меня стеллы-трубы.

— Динь-дон! — слышится от сожженной хаты старого Каминского.

— Динь-дон!.. — подхватывает рыдание другой колокол.

Слушайте, люди! Слушайте, леса! Слушай, широкий белый свет! Слушайте!..

Слышали вы в Хатыни  
Траурный перезвон?  
Кровь от ужаса стынет,  
Только раздастся он.  
Кажется, ты в пустыне,  
Выжжено все дотла —  
В той, военной Хатыни  
Плачут колокола.

По траве, по молодому житу катится, в сердце мое проникает печальный, отрешенный от всего земного перезвон. В нем — тоска и жалоба, слезы и гнев, призыв и надежда.

Стою, прислушиваюсь. Что это? Какие-то новые мотивы, новые, раскатистые, грозные звуки вплелись в печальный перезвон колоколов. Живых и мертвых слышатся мне голоса. Гневные голоса, суровые. Они рассказывают о былом, проклинают войну, взывают к бдительности, к разуму всех живущих на земле.

Много, очень много говорит сердцу набат хатынских колоколов!

Бетонные дорожки проложены там, где были когда-то улочки Хатыни. С каждой улочки можно было войти во



двор, в хату к соседу. Ни калитки, ни двери хат никогда не запирались. Они, как щедрые сердца, всегда были открыты для хорошего человека. Калитки и сейчас раскрыты настезь. Они как бы приглашают: «Входите, пожалуйста. Гостям у нас всегда рады, всегда рады во двор пустить». Пропустила и меня траурно-черная калитка. Здесь когда-то была хата Казимира Иотки. Была... На обугленной печной трубе — бронзовая табличка. На ней столбик имен: Иотка Казимир — 54 года, Иотка Елена — 50 лет, Иотка Альберт — 16 лет, Иотка Мария — 15 лет, Иотка Стася — 12 лет, Иотка Доминик — 5 лет, Иотка Реня — 4 года, Иотка Степа — 3 года, Иотка Юзик — 1 год...

Страшные в своей краткости эпитафии: имя, возраст. В одной семье девять живых душ загублено... Выкорчевали, уничтожили родословное дерево фашисты.

Через открытые калитки в другие дворы захожу. На бронзовых пластинках читаю: Барановский, Барановский, Барановский, Барановская, Барановская, Барановская... Желобкович, Желобкович, Желобкович, Желобкович... Каминский, Каминский, Каминский, Каминская, Каминская, Каминская... Имена, фамилии, возраст... И сверху вниз столбик цифр: столько-то человек насчитывала семья.

Там, где возле хат стояли лавочки, они стоят и теперь, только не деревянные, а из черного бетона. Там, где были калитки, — и теперь калитки, тоже из черного бетона. Там, где был овин, теперь тоже стоит овин, но не бревенчатый, а из черного мрамора...

Узкая дорожка из белых мраморных плит. Она ведет к тому черному овину, где фашисты сожгли сто сорок девять человек, в том числе семьдесят шесть детей. Не выйдут мужчины на луг с косами, не выедут в поле с плугами. Не возьмут женщины назубренных серпов, не запоют пожнивных песен. А дети не услышат тех песен, как не услышат и тихой колыбельной.

Горько, смутно на сердце. Горько, больно читать высеченные на камне слова: «Люди добрые, помните: мы любили жизнь, и Родину, и вас, дорогие. Мы сгорели заживо в огне. Наша просьба ко всем: пусть скорбь и печаль обернутся мужеством и силой, чтоб смогли увекове-

чить вы мир и спокойствие на земле, чтоб нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала!»

Кажется, их кровью начертаны эти заветы. Жар их сердец — в цветах, в алых букетиках гвоздик, что лежат на черных плитах могил.

«Кладбище деревень». Больше девяти тысяч сел и деревень Беларуси разделили горькую участь Хатыни. Пепел, землю с огненных братских могил привезли в Хатынь. Урны с той землей легли под камни-памятники на «Кладбище деревень». Меж «могил» ходят люди. Из близких, из далеких районов республики сюда пришли, приехали. Печально бродят они по «Кладбищу», свои деревни, свои села отыскивают. В определенном строгом порядке расположены «могилы».

Ходит среди них, вглядывается в надписи высокий, худощавый, с изборожденным морщинами лицом человек. Я и вчера его видел здесь. Откуда он? Что ищет?

— Семейю свою ищу,— слышу ответ.— На фронте был, а семью фашисты спалили. Деревню-то нашел. Деревня наша Старица. Вот на той плите написано: Старица...

Старица, Новоселки, Белая Лужа, Зеленый Лог... Верхнедвинский район. «Могила» деревни Ладеево... В феврале 1943 года фашисты окружили деревню. Всех мужчин согнали в один крестьянский дом, а женщин и детей — в колхозный амбар. И сожгли вместе с деревней.

Жабинковский район. «Могила» деревни Дремлево. Сентябрьским утром 1942 года на автомашинах в Дремлево ворвались пьяные, остервенелые эсэсовцы. Всех жителей загнали в хлев. С автоматами, с карабинами, с кинжалами эсэсовцы стали гоняться по дворам за курами, гусями, поросятами. Ограбив подчистую деревню, фашисты подожгли ее со всех концов. Деревня сгорела. Было расстреляно, погибло в огне 280 человек, из них 125 детей. Лишь трое обгоревших, израненных ребят — Ермашук Коля, Данилюк Михась и Юрасик Митя — остались в живых. Чудом спасенные, они — живые свидетели той кровавой трагедии.

Могут дать свидетельские показания против фашизма целые районы республики, разрушенные, сожженные до-

тла. Горькая доля постигла Освейский и Кричевский, Хойницкий и Бегомльский, Октябрьский и Любанский районы.

В одном только Суражском районе Витебской области на территории восьми сельсоветов за июнь 1942 года было разрушено, предано огню 1918 крестьянских дворов. Каждый камень, каждый кирпич, каждый порог белорусской хаты кровью и слезами политы были, горем оповиты были в дни войны.

Об этом говорит, об этом кричит «Кладбище деревень» в Хатыни. Там тоже горит Вечный огонь — символ неугасаемости жизни, символ нашей любви к Родине.

А те три березки? Почему их именно три? Почему не четыре березки глядят на Вечный огонь? Да потому, что каждый четвертый белорус погиб, сгорел в адском пламени войны.

Три березки — тоже символ. Три березки — глубокий след, жгучее напоминание о войне.

Вдоль мемориала возвышается «Стена памяти». Она рассказывает о лагерях смерти в Белорусской республике. Сняв шапки, опустив головы, полные скорби и гнева проходят люди вдоль черной стены. Ниши в ней вызывают в памяти зарешеченные окна тюремных камер. Тех камер, в которых мучились, гибли советские люди. Сотни, тысячи, миллионы людей.

Зарешеченные окна «Стены памяти» напоминают бойницы. Грозные, гневные, беспощадные бойницы. Люди умирали, но не становились на колени перед врагом, не продавали ему свою совесть, свои чистые души.

На гранитных выступях читаю: «Здесь похоронены...» — и цифры, цифры, цифры. Имен, фамилий нет: никакая, самая длинная стена не вместила бы всех имен жертв фашизма. «Здесь похоронены» — и цифры, цифры, цифры: 80 тысяч... 100 тысяч... 300 тысяч... Тысячи... Тысячи... Миллионы... Миллионы...

И словно бы самим горем людским, мукой и гневом высечены на камне слова: «Родные наши, в печали великой, склонив головы, стоим перед вами. Вы не покорились лютым убийцам в черные дни фашистского нашествия. Вы смерть приняли, но огонь сердец ваших, вашей любви

к Советской Родине вовеки неугасим. Память о вас у нас навсегда, как бессмертна наша земля и как вечно яркое солнце над нею!»

Память сердца вовеки неугасима! Память сердца донесет, передаст грядущим поколениям, что в Белоруссии гитлеровцы создали 260 концентрационных лагерей и гетто, что в одном лагере Малого Тростенца были замучены, повешены, расстреляны, сожжены десятки тысяч человек — мирных советских граждан.

Несколько лагерей смерти было в самом Минске. В лагере по улице Широкой фашисты уничтожили 20 тысяч человек. Бывший узник этого лагеря Г. И. Беляев рассказывал: «Три-четыре раза в день в «душегубке» увозили заключенных из лагеря. С 17 по 26 февраля 1943 года гитлеровцы вывезли в «душегубке» 3 тысячи советских граждан, доставленных из города Полоцка. Мне известно также, что немецкие палачи — комендант Вакс и его подручные вешали и расстреливали людей в самом лагере».

Больше 80 тысяч человек было уничтожено в минском гетто (район еврейского кладбища и Нижнего рынка). Свидетели М. И. Будкер, Ф. Ф. Бажко, Р. А. Нестерович, Ф. В. Ермоленко утверждали, что комендант лагеря Ридер и его помощники Готенбах и Бенцке жестоко издевались над заключенными, травили их собаками, кололи штыками, заживо сжигали на кострах. Готенбах под музыку поднимал тосты за полное истребление евреев, принуждал мучеников петь песни, водить хороводы и собственноручно расстреливал их прямо в лагере.

В 1942 году в деревне Колдычево, неподалеку от Барановичей, был создан лагерь смерти для мирных советских людей.

Вот что рассказал бывший заключенный этого лагеря Л. З. Василевич:

«Немецко-фашистские захватчики в концлагере Колдычево создали специальную камеру пыток. Она находилась под помещением управления лагеря. Заключенным гитлеровцы прокалывали иглками язык, растягивали мышцы и натравливали на них специально выдрессированных собак».

А вот рассказ бывшей партизанки А. М. Бабушкиной: «В августе 1943 года в полицейском участке местечка Городище видела я женщину с хутора Огородники Городищенского района гражданку Гриб, которую пытали в колдычевском лагере. Она вся была иссечена ударами резиновых дубинок. Пальцы, грудь, все тело были искалечены, были опалены раскаленным железом. От нее несло трупным запахом, она едва дышала...»

Официальные докладные, документы Музея истории Великой Отечественной войны свидетельствуют, что в колдычевском лагере смерти было уничтожено более 22 000 мужчин, женщин, детей.

Специальный лагерь для детей фашисты организовали в научном хозяйстве Красный Берег Гомельской области. Жертвами его стали дети 8—14 лет из Жлобинского, Добрушского, Рогачевского, Стрешинского районов. 1990 детей гитлеровцы вывезли в Германию и сделали донорами — у них брали кровь для раненых фашистских солдат и офицеров.

Такое могло прийти в голову только гитлеровцам!

В марте 1944 года командующий девятой армией генерал танковых войск Харц приказал организовать вблизи переднего края немецкой обороны три концлагеря. Один из них был расположен на болоте около поселка Дерьт, второй — возле местечка Озаричи, третий — неподалеку от деревни Подосинник, тоже на болоте. Эти три лагеря, в которых томилось около пятидесяти тысяч советских людей, были объединены в озаричский лагерь смерти. Сюда под видом эвакуации фашисты привозили, пригоняли жителей городов и деревень Гомельской, Полесской и Могилевской областей. В большинстве своем это были старые, слабые мужчины, неработоспособные женщины, дети. Лагерь был под открытым небом — люди изнывали от жары, мокли под дождями, коченели в морозную пору. Заключенным запрещалось строить шалаши, разводить костры, собирать хворост, рвать траву. И не убежишь, и нет надежды на спасение: лагерь был оплетен несколькими рядами колючей проволоки, подступы к нему были заминированы. Морозы, эпидемии начали косить людей. Больных, обмороженных никто не

лечил, никто не хоронил мертвых. Трупы по нескольку дней лежали на снегу, лежали в гнилом болоте. Тяжелый смрад висел над лагерем. Режим лагеря был рассчитан на истребление — холодом, болезнями, голодом. Раз в неделю гитлеровцы подвозили к ограде хлеб и по кусочку бросали за проволоку, в толпу истощенных, обесилевших, больных людей. После долгого голодания маленький ломтик хлеба только усиливал страдания узников. Разгул самых диких, самых низменных страстей царил в озаричском лагере смерти. Фашисты вырывали у людей зубы, вытаскивали жилы, огнем выжигали глаза... Девять тысяч человек было расстреляно, повешено, замучено в этом лагере.

Создавая концлагеря вблизи переднего края обороны, немецко-фашистское командование рассчитывало живым заслоном из советских людей преградить путь нашим войскам. Была и еще одна изуверская цель: сделать такие лагеря питомником инфекционных заболеваний, чтобы распространить эти заболевания среди населения, солдат и офицеров Советской Армии, когда она вступит сюда, когда гитлеровцы оставят эти рубежи.

Варвары и есть варвары. Они способны сжечь, убить, сгноить тысячи, миллионы людей. Они это и делали! Но не смогли они сломить советский народ, который твердо верил в свою победу, в свое будущее. Нельзя истребить, нельзя выжечь в человеческой душе стремление к свободе и счастью. Нельзя убить, затоптать, испепелить людскую память. Нельзя, невозможно!..

Об этом говорит «Стена памяти» в Хатыни. Это благовестят скорбные хатынские колокола.

Хатынь — это бронза и камень. Хатынь — это безмерная людская скорбь. Хатынь — это памятник всем пепелищам нашей земли. Хатынь — символ мужества нашего...

В праздники здесь не пробиться. И людям, и цветам тесно здесь в памятные дни. Делегации рабочих, колхозников, интеллигенции, приезжие из союзных республик и зарубежных стран несут цветы, возлагают венки. Цветы, венки повсюду — у могил, у «Стены памяти», у черных венцов сожженных хат, у черной фигуры человека с мертвым сыном на руках.

И венкам, и людям тесно здесь в праздники. Многие легковые машины, автобусы, грузовики останавливаются в лесу, не доезжая до Хатыни. Там уже хоть отбавляй людей и машин. Там уже меж венков и цветов, как живые цветы, — пионеры, пионерки в ярких галстуках. Молчаливыми стайками школьники идут за своими учителями к «Стене памяти», идут на «Кладбище деревень», идут к черным призракам-трубам. Странные эти трубы: хат нет, печей нет, а трубы стоят! Негромко позванивают трубы. Что это значит? Как это понять им, вихрастым озорникам, шустрым ласточкам-девчушкам?

Учителя рассказывают ребятам горькую правду. Тихие тени ложатся на детские лица, слезой туманятся искристые глаза. Дети поняли, приняли сердцем страшную правду.

На этих двориках никто не посадит, не вырастит сада, не поставит улья под яблоней.

На этой лавочке никто не присядет под вечерней зорькой, не прижмет к груди любимую, не погладит по головке сына или дочушку.

В этой деревне никогда не будет ни свадьбы, ни родин, не будут играть гармошки, скрипки, цимбалы, не слышатся песни.

В этом колодце никто и никогда не зачерпнет воды, не утолит жажду в знойный день...

Зной. Жажда... И не напьешься, не освежишь сухие губы глотком студеной воды. А здесь же четыре колодца. Они восстановлены точь-в-точь там, где были прежде, пока война их огнем не иссушила, пеплом и сажей не засыпала. Загляните в эти бетонные колодцы — вы увидите на дне майоликовые плитки. Они символизируют четыре поры года. Лето, осень, зима, весна... Трагедия произошла весной. В пору, когда все возвращается к жизни, здесь остановилась жизнь. Жизнь людей, но не природы. Сквозь воду на дне колодца вы увидите буйство весенней зелени, яркое летнее солнце, золотой кленовый лист зрелой осени, пушистую снежинку морозной зимы. Все это своими глазами видели те, кому никогда больше не видеть ни золотого кленового листа, ни белой легкой снежинки...

И людям, и цветам тесно здесь в праздники, и потому как-то в будний день, под вечер, приехал я в Хатынь. Но и в это время там былолюдно. Пожилой розовощекий украинец с Полтавщины, его моложавая, видная, черноглазая жена, их беленькая внучка клали цветы у «Стены памяти». Потом они ходили вдоль стены, читали надписи, шептали про себя цифры. Может, и их сын, их Мыкола, за этими железными решетками маялся? Может, в лагере смерти убили Мыколу, повесили, сожгли?.. В белорусских лесах партизанил Мыкола. Домой не вернулся. А яки быў гарны хлопец! Трактористом был, кроил плугами жирный полтавский чернозем. По всей Полтавщине прокатилась его добрая слава. Не пришел с войны тракторист. И на этой стене не выбито его имя... Платочком смахивает полтавчанка слезу. Где искать родного Мыколу? Где его могила?

А где могила того сибиряка, того знатного тигролова Ивана Перунова? Он, не пробившись из вражеского окружения, партизанил на Витебщине. Из разведки не вернулся смелый, находчивый партизан. Фашисты его убили. Где же его могила? А может, в лагере смерти его замучили, сожгли?..

Из далекой Уссурийской тайги приехал в Хатынь отец погибшего партизана. По «Кладбищу деревень» ходит старик. К «Стене памяти» подошел. Долго стоит он, рослый, плечистый, рыжебородый. Чего он стоит? Может, пришел поговорить с этой холодной, скорбной стеной? Почему бы и нет? Стена о многом может поведать чуткому сердцу, изболевшей душе. Вот он и стоит, словно из могучего кедра высеченный, старый, опытный тигролов, отец тигролова, стоит, мнет в руках шапку...

Из своих ковыльных степей в Хатынь приехал калмыцкий поэт Михаил Хонинов. Он тоже в суровые дни попал в окружение на Могилевщине. Потеряв надежду добраться до своих, Михаил Хонинов много дней и ночей бродил по лесам — искал партизан. Добрые люди ему сказали, что в тех лесах должны быть партизаны. А как их найти? Леса да леса кругом, а в каком из них партизаны? Голодный, ослабший, черный с лица солдат идет из дубравы в дубраву, из ельника в березняк. Давно



последний сухарь догрызен, последняя щепотка махорки выкурена. И уж так измотался, так изнемог — ноги не слушаются, за валежины цепляются. Упал на сухой мох под сосной. Лежит, думает: «Что делать?.. Скажите, сосны, где партизаны? Люди воюют, оккупантов бьют, а я по лесам, по болотинам, как тот леший, скитаюсь. А у меня же винтовка. Она должна стрелять...»

И снова встает, бредет дальше. На лесной полянке подходит к старому пастуху:

— Добрый день, дед!

— День-то ничего,— отвечает пастух.— А сам ты добрый ли? Вон стрельба, гляжу, у тебя, а чего ж не воюешь?

Обо всех своих приключениях, раздумьях, скитаниях рассказал солдат старому пастуху. Подобрел тот. Набил трубку табаком, протянул солдату:

— Кури, хлопче.

Глотнул солдат дыму, а земля под ним кругом пошла, поплыли перед глазами туманные пятна. Схватился за лозину, чтоб не упасть.

— А батюшки! — всполошился старик.— С чего ж это тебя так повело, скрутило?

— С голодухи, отец. Давно хлеба в глаза не видел.

— Хорошенькое дело! А что ж не сказал сразу?

Старик достал из кармана завернутую в тряпицу горбушку, отломил половину, подал солдату:

— Кусай, хлопче. Хорошенькое дело!.. А теперь слухай...

Поверил старик бойцу, рассказал ему, как найти лес, где поговаривают, есть партизаны, а главным начальником у них какой-то Сидоренко-Солдатенко.

Верно говорил пастух. Нашел Михаил и лес, и партизан. Тот самый партизанский командир Сидоренко-Солдатенко рассказал мне, как советского бойца, молодого калмыцкого поэта, принимали в партизаны, как давал он клятву перед строем...

— Хорошо воевал Саша Черный.

— А кто это — Саша Черный?

— Это и есть Михаил Хонинов. Вы видали, какие у него черные брови, какой черный курчавый чуб, черные

глаза, смуглое лицо? Вот и прозвали его партизаны «Саша Черный». А душа у него светлая, сердце доброе, чистое. Боевой партизан, хороший поэт, душа-человек...

Хороший поэт и душа-человек приехал из своей далекой Элисты в Хатынь. На «Кладбище деревень» он ищет то село, где жил старый пастух, поделившийся с ним последней горбушкой черствого хлеба, показавший ему дорогу к партизанам. Нет теперь на Могилевщине того села, нет и того пастуха. Их земля, их прах теперь на «Кладбище деревень».

— Не могу ходить — ноги подкашиваются, не могу глядеть — боль глаза застилает, — говорит мой давний друг Михаил Хонинов. — Душа стонет, сердце кровью обливается, как погляжу на эти немые могилы, на этого бронзового человека, на эту «Стену памяти». Все это мертво, немо, но все кричит, болью и гневом входит в душу. Буду об этом писать. Кровью сердца буду писать про дорогую мне Беларусь, про ее партизан, про живых и мертвых...

Твердо верю — напишет. Нужно ему высказать свою боль и гнев свой, этому душевному человеку и поэту из далекой ковыльной степи.

Из далекой степи, из далекой сибирской тайги, из далекой алмазной Якутии, с далеких янтарных берегов Прибалтики — со всего белого света едут люди в Хатынь.

Хатынь — памятник трагедии, пережитой всем человечеством.

---

## ПАМЯТЬ СЕРДЦА

---

Кровавой огненной весной 1943 года прилетели в Хатынь аисты. Здесь испокон веков гнездились, появлялись на свет их пращурь, их деда и отцы. Прилетели аисты — нет деревни. Нет высоких лип и берез, нет крыш и старых колес, борон на крышах. Негде присесть, негде отдохнуть с далекой и нелегкой дороги. Покружили птицы над черным пепелищем и улетели. Больше они туда не возвра-

щались. Только один, старый, длинноногий, прилетал еще раз-другой, кружил, клекотал над родной селитьбой. Может, память сердца вела его туда?..

Старик Каминский видел, как аист утром кружил над единственной липой в Хатыни. Вероятно, и он не мог понять: как, каким чудом уцелела, выстояла, выжила эта одна-единственная липа?

Иосиф Каминский глядел из-под ладони в небо, а аист — выше, выше. Как корабль, дальше и дальше отплывает он в синеву. Плывет за ним в мыслях и Каминский. Видится ему в этом гордом полете взлет сыновней души. Даже сон удивительный приснился старому. Будто бы ожил его Адастик. Будто бы посадил он на колени совсем еще маленького сынка, гладит его по головке, а тот спрашивает:

— Почему нельзя обижать аиста? Почему его нужно жалеть? Зачем ему старую борону на крыше поставили?

А он отвечает малышу, что аисты добрые, работающие. Они ловят на болотах, в кустах гадюк и пиявок. Они всякую дрянь уничтожают, чтобы человек в чистоте жил, чтоб его никакая нечисть не укусила. А маленький Адастик снова спрашивает:

— А можно в гнезде аистовом взять яйцо? Можно аистенка взять?

А он, Каминский, сына поучает, говорит несмысленному, что из гнезда ничего нельзя брать. Аист обидится, затаит злость и когда-нибудь бросит на хату горящую, красную головешку. Хата загорится, а от нее огонь перекинется на другие. Сгорит вся деревня... И уже видит Каминский, как горит его гумно, горит Хатынь, горят люди. Один его Адастик не горит. Сильным белым аистом полетел, поплыл к солнцу Адастик!..

Страшный и хороший сон приснился старому Каминскому. Сон растаял, как белое облачко. Сон ушел, уплыл, как маленький Адастик в облике легкой дивной птицы, а он, реальный, тогда еще живой Каминский, стоял передо мной в своей хате, в самой будничной обстановке. Там, в Хатыни, на мемориальной скульптурной композиции он величествен, суров, гневен и могуч. Талантливый скульптор Сергей Селиханов поведал через траге-

дию Хатыни о многих и многих подобных трагедиях. В его скульптурной композиции видишь и тяжелую, скорбную поступь убитого горем человека, и величественный, орлиный взлет разгневанного, сурового и непреклонного борца за свободу, за народное дело. А здесь, в простой крестьянской хате, Иосиф Каминский показался мне обычным, тихим, немного печальным, немного медлительным человеком. Правда, он был еще крепок с виду, держался прямо, хотя ему уже тогда перевалило за девяносто лет. У него был ясный взгляд, сильная рука. Высокий, с залысинами, морщинистый лоб. И я увидел поразительное сходство между ним и тем бронзовым человеком в Хатыни. Только этот не так величествен, не так суров,— очень тихий какой-то, уютный, сердечный человек. И хата его, выкрашенная под цвет молодой весенней травы, очень уютная, тихая. И дворик маленький, тихий, уютный. И даже собачонка какая-то мирная, не злая: твякнула раз-другой и завилыла лохматым хвостом.

Беседа наша немного затянулась. Замечаю: приустал старик, но не собирается прилечь, куда-то торопится.

— Это ж вот заговорился я малость, а мне нужно в лес,— словно оправдывается хозяин.

— А зачем вам в лес?

— Да вот позвали. Нужно идти. Пионеры меня на свой костер позвали. Так что уж извините. Пойду...

Мы вышли на тихую улицу небольшой деревушки Козыри. В чистом небе над деревней пролетел самолет, за ним второй, третий промелькнули. Каминский поглядел на белые полосы в небе, вздохнул, проговорил:

— Хоть бы снова войны не было. Вот ведь и пишут, и по радио передают: нет спокойствия на свете. Калечат, убивают, жгут людей. Очень мне людей жалко. Душа заходится, как вспомню, как тут были да палили наших...

Он умолк, стал задумчив, хмур. Было хорошо видно, что сейчас у него на душе. Нелегко было ему молчать, а еще труднее говорить, терзать сердце давней болью. И все-таки он не выдержал. Горькая улыбка тронула старческие уста.

— Когда-то я говорил своему Адасику: не нужно обижать аиста. Он прогневается, обидится и горящую голо-

вешку кинет на хату. Загорится хата, а за нею и вся деревня...

Горькая улыбка исчезла, растаяла. Суровость и гнев горели в глазах старика. Он словно вырос в этот миг, расправил плечи.

— Насчет аистов — это выдумка. Сказка для маленьких, — продолжал Иосиф Каминский. — Не аисты, а стервятники злые бросают огненные головешки на деревни и города, на мирных людей. Не аисты, а черные коршуны виноваты...

Верно, очень верно сказал тогда старик. Разве пепелище Сонгми не было повторением Хатыни, Красухи, Лидице, Орадура?

Корреспондент ЮПИ Дэвид Лэмпа о кровавой драме в Сонгми сообщал:

«...Женщины стали плакать. Дети кричали. Один буддийский монах показал американцу свой документ, но тот лишь кивнул головой и сказал: «Извините». И расстрел начался...»

Видите, какой «вежливый» убийца? Это не гитлеровский палач 40-х годов. Тот без разговоров — к стенке. А этот: «Извините». И стал стрелять.

Участник кровавой расправы в Сонгми американский солдат Терри сказал: «Большинство из нас не рассматривает вьетнамцев как людей и относится к ним как к скоту». Не новые, очень знакомые слова. Так говорили эсэсовцы Гитлера, так говорили головорезы Гимmlера в Белоруссии. Сами главари этой озверелой шайки утверждали: «Славяне должны работать на нас. Они могут умереть, поскольку они не нужны нам». Это слова Гимmlера. А Гитлер писал:

«Для населения восточных областей не должно быть высших школ. Для него достаточно наличия четырехклассной народной школы. Целью обучения в этой народной школе должно быть только: простой счет, самое большее до 500, умение расписаться, убеждение, что божественная заповедь заключается в том, чтобы подчиняться немцам, быть честными, старательными, послушными. Умение читать я считаю излишним...»

В соответствии с этой «программой» были разработаны и планы послевоенной перестройки Минска. Вдоль Свислочи, между улицами Интернациональной и Первомайской, немцы собирались соорудить здание главного военно-фашистского управления, а в границах улиц Свердлова, Комсомольской, Кирова — здание СС, жандармерии и других карательных органов. На важнейших магистралях при выезде из города намечалось построить грандиозные казармы для размещения гарнизонов эсэсовцев, а в районе улиц Берсона и Мясникова — огромную тюрьму. В районе улицы Карла Либкнехта планировалось построить крематорий с площадкой для расстрелов и специальными подъездными дорогами.

Нам уже известно, что во многих городах и деревнях Белоруссии такие крематории, лагеря смерти с такими подъездными дорогами были построены гитлеровцами в минувшую войну. Туда бросали фашисты наших людей. Правда, они не были столь «вежливы», как американцы, не говорили своим жертвам: «Извините, мы вас должны сжечь. Простите, мы будем расстреливать вас». Американцы вежливы, эти почтенные короли нефти, стали и золота.

Корреспондент агентства Рейтер взял в свое время интервью у американских карателей. Лейтенант, командир патруля дивизии «Америкал», сказал: «В течение одного дня мы разрушили тринадцать деревень». И принялся расхваливать зажигалки американского производства. Очень уж ловко, умело пользуются этими зажигалками его боевые, отважные парни. «Они первыми входят в деревню и своими зажигалками поджигают соломенные крыши». А сержант дополнил лейтенанта: «Если мы находим свечи, некоторые из нас используют и эти свечи. Некоторые дома сложены из кирпича. Тогда мы используем для разрушения гранаты».

— Сколько времени вам требуется на уничтожение деревни? — спросил его корреспондент.

— По-разному. Это зависит от ветра и размеров деревни, — ответил сержант, восемнадцатилетний американец. — Когда деревня горит, жители, которым удается из нее выбраться, знают, что они все равно сейчас умрут:

мы занимаем позиции на близлежащих холмах, смотрим, как эти крикуны разбегаются во все стороны, и вызываем на них огонь артиллерии и авиации.

О, как это похоже на методы и практику, на преступления гитлеровцев! Они ведь тоже вызывали огонь артиллерии и авиации на наши тихие лесные деревни.

Усовершенствованное, механизированное, профессиональное убийство!

А вот что рассказал корреспонденту американского телевидения один из участников расстрела 45 стариков, женщин и детей в Сонгми, разбойник Пол Мидла:

«Колли отступил на 3—5 метров (от вьетнамцев, которых солдаты заставили сесть на землю) и начал стрелять в них. Он мне сказал, и я открыл огонь. Я стал стрелять по группе и израсходовал четыре обоймы...

— Значит, вы израсходовали четыре обоймы вашей...

— ...автоматической винтовки «М-16».

— Значит, вы сделали приблизительно 60—65 выстрелов?

— Точно. Каждая обойма вмещает 17 патронов.

— Сколько человек вы убили?

— Гм... Я вел беглый огонь, как бы поливал их из лейки... В таких условиях нельзя точно подсчитать, сколько ты их убил,— огонь очень густой. Я мог убить каких-нибудь 10—15 человек...

— У вас есть дети? — спросил корреспондент.

— Двое...

— Как же вы могли стрелять в маленьких?

— Не знаю... Это одна из таких штуквин...»

Мидла не договорил. Он не задумывался над этим. Он просто поливал, «как из лейки», этих «крикунов».

А разве задумывались гитлеровские солдафоны, когда свинцом поливали, огнем выжигали все живое на нашей земле? Очень тесно переплелись меж собой те, давние уже преступления гитлеровцев и злодейства американских вояк. Боль и крик Хатыни, боль и стон Сонгми слились в единое горе, в единое море крови и слез.

А разве нынешние лагеря смерти в Южной Африке не напоминают, не повторяют жутких лагерей смерти военного времени?

Стокгольмская вечерняя газета «Афтонбладет» напечатала репортаж своего корреспондента С. Эриксона, которому довелось побывать в южноафриканских поселениях. Вот строки из этого репортажа:

«Этот лагерь называется Илинги. Сюда приводят тысячи африканцев, чтобы они после бессмысленного существования умерли от голода... Более ста тысяч людей живут в таких лагерях, расположенных в отдаленных районах Южной Африки, живут без всякой надежды на будущее. Таких лагерей, как Илинги, известно 24...

Они трудились на белых всю жизнь. Аккуратно платили налоги, содержали семьи на заработок, который, как правило, был ниже прожиточного минимума...

Но однажды полицейский постучался в дверь:

— Завтра вы переедете домой.

— Домой? — переспрашивает африканец.— Мой бог, я прожил здесь всю жизнь! Это, вероятно, ошибка...

— Заткнись и собирайся,— отвечает полицейский.— Вас заберут завтра в 9 утра.

Людей грузят на автомашины вместе с пожитками. И вот они видят свое новое место жительства: пустынное высокогорное плато и палатку, лежащую на земле.

— Ставьте палатку, черномазые. Скоро стемнеет...

Земляной пол, нет ни плиты, ни даже простой печки. Дверь считается излишней роскошью для африканца... И все время, не переставая, дуют ветры...

Никто не думает, на какие средства они должны жить и чем питаться. Их привезли сюда на голод и медленную смерть».

Трудно поверить, что это происходит в наши дни.

Воспитанные на культе силы и волчьих законах несправедливости, заокеанские хищники говорят о высоком призвании белого. В этом слышатся отголоски фашистских расовых теорий. Фашисты тоже домогались мирового господства, прокладывая гусеницами танков кровавые борозды на земле Европы и нашей Родины.

Теперь кровавые борозды прокладывают новые расисты и агрессоры. Эхо выстрелов, криков, стонов, мук Сонгми прокатилось по всему белому свету. Всем открылся фальшивый облик показной, мнимой свободы,



лживой демократии великой заокеанской державы. Все меньше и меньше становится на планете людей, которые продолжают верить в ее щедрость и гуманность.

Все больше и больше становится на планете людей, которые с надеждой глядят на могучую державу, на Советский Союз. А чтобы стать этим всемирным светочем, нам довелось железной волей и ясным умом Ленина свершить Великую Октябрьскую революцию, которая потрясла старый мир, которая могучей бурей смела троны и короны, дала людям свободу и счастье, озарила их жизнь новым светом.

Волны того могучего взрыва и по сей день разгоняют мрак, окутавший жизнь поработанных народов. Шаг революции гулким эхом отдается в цехах заводов, на полях, на мостовых и площадях городов мира.

Этот шаг мы слышим сегодня в стремительном походе, в многоголосье нашей эпохи, нашей жизни. С неподдельным восторгом видим, с радостью слышим, как под жаворонковым небом

Гудят гиганты-самосвалы,  
Бегут по рельсам поезда —  
Тройной союз: огня, металла  
И вдохновенного труда.  
И минский край, и край полесский —  
Одна судьба, одна краса...  
Слышны на нивах, перелесках  
Моей державы голоса.

Голоса фабрик и машин, голоса тракторов-песняров влились в голоса широкого колхозного поля, в голоса пожнивных песен, в голоса нашей новой яви. И как корни могучего дуба глубоко проникают в землю, тесно сплетаются с нею, так прочно слились, тесно переплелись меж собою голоса индустрии и земли, интересы, мечты, насущные заботы города и деревни.

Мы славим их союз могучий.  
Взгляни на герб своей страны:  
Там серп и молот в неразлучном  
Рукопожатье сплетены.  
В тугой венок вплелись колосья  
Днепровских, неманских долин —  
Так наших дней многоголосье  
В напев сливается один.

Еще чернели перепаханные бомбами луга и поля, еще порохом и горелой резиной пахла трава, а уже из близких, из далеких городов и сел пришли, приехали люди возводить наш Минский тракторный. Москва, Ленинград, многие республики прислали специалистов-строителей, прислали нужное оборудование. Вдохновенный труд побратимов принес свои плоды — высоко вознеслись корпуса-крылья завода. Из необъятных цехов этого гиганта нынче во все республики Родины, в близкие и далекие страны идут наши, белорусские тракторы.

Они на Кубе трудятся, у Нила,  
Феллах поит их нильскою водой,  
Они народы наши породнили —  
Связали первой вешней бороздой.  
Из дальних стран вернуться к гнездам гуси,  
А тракторы — полпреды Беларуси —  
Там новый дом навеки обрели,  
Чтоб над сохой негнули люди спины,  
Чтобы народы поступью единой  
Шли к новой доле, к новой жизни шли...

Это — яркие страницы интернациональной дружбы, нашей высокой гуманности. Так куем мы наше счастье, куем новую долю для народов многих стран и континентов. Вносит свой вклад и Владимир Яскевич, мастер Минского автозавода. Теперь он уважаемый, известный на заводе работник. А вспомните, как он, тринадцатилетний мальчишка, выбирался из огненного ада в Хатыни. Когда каратели стали сгонять людей к овину, Володя садами, огородами бросился бежать в поле. Фашисты открыли огонь ему вдогонку. После одного из выстрелов Володя упал. Гитлеровцы решили, что он убит, и прекратили стрельбу. А он отсиделся в какой-то яме и потом долго бродил по лесу, искал, звал своих родных, соседей, приятелей. Не дозволялся...

Но жизнь продолжается. Нельзя убить, нельзя пустить дымом жизнь! Жила и живет природа. Живет царь этой природы — человек. Народ бессмертен!..

Давно истлели в могилах кости тех выродков, что ступили незванно на нашу землю, что сожгли Хатынь, а она жива в наших сердцах и будет жить вечно. Память серд-

ца бессмертна. История донесет, память сердца поведает новым эпохам, грядущим поколениям и о великой трагедии, и о героической борьбе нашего народа. Десятки, сотни памятников, курганов расскажут о легендарных партизанах и воинах-фронтовиках, отдавших жизнь за нашу свободу, за будущее всего человечества. О героях, через муки и смерть шагнувших в бессмертие, говорит нашим современникам, будет напоминать потомкам величественный Курган Славы, который высится на двадцать первом километре Московского шоссе.

Курган Славы сооружен в честь Советской Армии, освободившей Белоруссию от немецко-фашистских оккупантов.

Вблизи этих мест в июле 1944 года советские войска взяли в кольцо многотысячную вражескую группировку и разгромили ее в пух и прах. В Курган Славы, созданный по проекту народного художника Белорусской ССР А. А. Бембеля, архитектора А. А. Стаховича и инженера В. М. Лапцевича, легла земля городов-героев, земля наших белорусских городов и деревень, навеки прославивших себя героической борьбой и созидательным трудом. Венчают Курган четыре штыка — символы четырех фронтов, участвовавших в освобождении Белоруссии.

Когда насыпали Курган, шоссе было запружено грузовиками и автобусами. Десятки тысяч людей... Мальчишки несли землю прямо в шапках, женщины — в платках. Несли свою горсть земли седовласые ветераны минувших войн и школьники, рабочие и колхозники, служащие и люди творческого труда...

Высоко вознес свою вершину рукотворный Курган Славы. В нем политая кровью и слезами земля. В нем тепло людских сердец и труд работающих рук. В нем дыхание живых и последний вздох тех, кто сложил головы на ратном поле. В нем вечная слава советского народа. Над ним шумят, полыхают знамена Советского Союза и всех республик Страны Советов. Над ним чистое небо и трепетный полет жаворонков. С его вершины видны отлогие холмы, калиновые, рябиновые долины, светлые березняки, темные ельники и дубравы. И слышно, как расшумелись они, послали в дальние дали гулкое эхо.

Докатилось оно до Смоленской горы,  
 Пронеслось по долинам России —  
 Перелески, дубравы, седые боры  
 Стоголоса его разносили.  
 В песне ветров степных,  
 В шуме нив золотых  
 Слышу отклик — и счастлив сказать я:  
 Эхо наше и их,  
 Сила наша и их  
 Неразлучны, как кровные братья.

С вершины Кургана Славы я вижу всю Беларусь, всю  
 нашу великую Родину, все ее республики. Душою, серд-  
 цем слышу, как разноязыкие песни жизни и борьбы сли-  
 лись в это единое, многоголосое эхо. Оно не знает пре-  
 град, для него нет границ. Вот оно прокатилось над  
 Днепром; украинские тополя и осокори — друзья и по-  
 братимы наших сосен

Подхватили его, понесли, донесли  
 До Молдавии, Грузии, Крыма...  
 Пламя наших сердец,  
 Слава нашей земли —  
 Солнце дружбы, вовек нерушимой.

Большой, трудный пройден путь — от мраморных сту-  
 пеней Зимнего дворца до невообразимо далеких звезд  
 Вселенной! Светлый разум, вдохновенный труд дали та-  
 кой высокий взлет человеку. В мире добра и красоты че-  
 ловек сам добреет, теплеет душою, хорошеет, яснее  
 сердцем. И тогда он может еще плодотворнее создавать  
 добро для людей доброй воли во всем свете. Так пусть  
 же никогда не уснет разум, чтобы не проснулось вновь  
 кровавое, отвратительное чудовище.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

---

ЗАРЕЙ И СОЛНЦЕМ ПИСАНО	5
ЖЕЛЕЗОМ БИЛА, ОГНЕМ ПАЛИЛА	8
А В БОРУ, В БОРУ...	13
ЧЕРНОЕ УТРО	20
ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ	30
КРОВЬ ОГОНЕК ЗАЛИЛА	41
БРОНЗА. КАМЕНЬ. СКОРЬБЬ	54
ПАМЯТЬ СЕРДЦА	69

Белевич  
Антон  
Петрович

ХАТЫНЬ:  
БОЛЬ  
И ГНЕВ

Заведующий  
редакцией А. И. Котеленец

Редактор И. А. Дегтярева

Художник С. И. Сергеев

Художественный  
редактор Г. Ф. Семиреченко

Технический  
редактор Н. Е. Трояновская

Подписано в печать с матриц 23 апреля 1975 г.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 1.  
Условн. печ. л. 4,41. Учетно-изд. л. 3,99  
Тираж 200 тыс. экз. А00064. Заказ № 4562  
Цена 15 коп.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».  
Москва, Краснопролетарская, 16.



15 коп.

